

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Больная Россия.

ЗИМНИЕ РАДУГИ.

9 января 1905 года над Петербургом видны были радуги. Великие события того дня связывались в народной молве с этим небесным знамением.

Из будущей летописи

У меня, должно быть, лихорадка. Не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред. Кто нынче не бредит? Вы к этому привыкли. И если все чаще слова здравомыслящих напоминают бред, то, может быть, в бреде окажется крупица смысла...

Ну, довольно. Предисловия вообще бесполезны. Лучше сразу начать. Только вот не знаю, как бы повежливее.

Моя ежедневная прогулка – в Летнем саду, мимо домика Петра Великого. Там на старых липах множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мною каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра.

И вот, в последнее время мне чудится в их карканье злое пророчество, то самое, за которое в 1703 году, при основании города, били кнутом, ссылали на галеры, рвали ноздри и резали языки: «Петербургу быть пусту».

«Три старых рыбака, живших до основания Петербурга в местах, где возник потом город, рассказывали в 1721 году, что за тридцать лет перед тем было такое наводнение, что вся страна до Ниеншанца была потоплена и что подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Поэтому первобытные жители невского побережья никогда не строили там прочных жилищ, но небольшие рыбацьи хижинки».

Как только, по приметам, ожидалась большая буря, крестьяне ломали свои хижинки, а бревна и доски складывали, как плоты, и привязывали к деревьям; сами же, в ожидании убыли воды, спасались на Дудерову гору» («Петербургская старина» академика Пекарского).

Веря этим пророчествам, русские люди, насильно загнанные в «Парадиз», говорили, что здесь жить нельзя, что город будет снесен водой или провалится в трясину.

Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкова моста к Литейной бежали черные толпы. Ковыляющая старушка-барыня в съехавшей набок шляпе закричала мне в лицо: «Не ходите, там стреляют!» и мне, действительно, послышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон. Впрочем, снов рассказывать не следует. Только два слова. Черный облик далекого города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы. Вдруг по этой черноте забегали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я или кто-то мне сказал, что это взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг – и весь город взлетит на воздух, и черное небо обогрится исполинским заревом.

Я уехал в том же году, когда уже почти все было кончено; вернулся этой осенью, в самое сердце реакции, в самое сердце холеры. Ни той, ни другой не видно конца. Каждый день на страницах «Нового времени» печатается телеграмм: [1] «Заболело 17 человек, умерло 9». Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится и устье Невы делается необитаемым, как устье Ганга: «Петербургу быть пусту».

Но ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийцах, об «одиноких», о «кошкодавах», ни даже эта страшная тоска на лицах, – о, конечно, всероссийская, но которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов безумия (никто не замечает своего и чужого безумия, кажется, потому, что все вместе потихоньку сходят с ума), – нет, не все это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь знакомое «чувство

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
конца», видеть в лице Петербурга то, что врачи называют *facies*  
*Nurrocratica*, [2] «лицо смерти».

«Я замечал, – говорит Печорин в лермонтовском „Фаталисте“, – что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы».

Главное, что поразило меня в Петербурге, это именно то, что лицо его ничуть не изменилось. Петербург тогда и теперь – как две капли воды. Правда, весь он осунулся как-то, одряхлел, постарел собачьей старостью. Но ничего не убавилось и не прибавилось. Только электрические трамваи, кинематографы, да призрачный двойник московского Василия Блаженного. Но ведь этого мало даже для октябристов и мирнообновленцев.

Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Невытанцевавшаяся и уже запакощенная Европа. Ежели он и похож на город иностранный, то разве в том смысле, как лакей Смердяков «похож на самого благородного иностранца». Как в частушке поется:

Если барин при цепочке,  
Это значит – без часов.  
Если барин при галошах,  
Это значит – без сапог.  
Да, Петербург не изменился, и в этой-то неизменности, неизменяемости –  
«лицо смерти».

Шлепая по невероятной, черно-коричневой жиже среди невероятного, черно-желтого тумана, я думаю: точь-в-точь, как три года назад; три года – три века; нам казалось, что произошли в них большие события, чем в смутное время, чем петровская реформа и двенадцатый год. Но вот оказывается, что ничего не произошло. Было, как бы не было. Да уж полно, было ли? Все голоса Петербурга вопят: не было! Но я знаю, помню. Мне надо сойти с ума, чтобы забыть. Тут-то и начинается мой бред, мой ужас, мое «чувство конца». И тут же вспоминается мне Достоевский:

«Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное.. Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, – не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, поднимется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты, бронзовый Всадник на жарко дышащем, загнанном коне?.. Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, – и все вдруг исчезнет».

Было, как бы не было.

Недавно ездил я в Москву. Это наш древний паломнический путь, освященный первой книгой русской свободы – радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву». Сразу очнулся от бреда, как будто из подземной темницы вырвался на Божий свет.

Люди как люди; город как город. Веселые санки скрипят по крепкому снегу, и можно не бояться, что завтра превратится он в черную слякоть. Румяные торговки у Спасских ворот, зазывая в лавочки, предлагают, должно быть, точно такие же, как в XVII веке, вязаные рукавички. И, кажется, пахнет в воздухе старозаветным славянофильским бубликом. Вот-вот встретишь на углу И. С. Аксакова, который скажет мне, как некогда говаривал Достоевскому: «Первое условие для освобождения в себе плененного чувства народности – возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими». Я с ним поспорю, поругаюсь, а все-таки почувствую в нем какую-то родную бабушкину сказку, бабушкину правду. Несмотря на чудовищный декадентский Метрополь и горячечный, розово-фиолетовый блеск электрических солнц на белокаменных стенах Китай-города, лицо Москвы все еще напоминает лицо пушкинской няни, Арины Родионовны – «голубка дряхлая моя». Но что-то есть в этой дряхлости юное, вечное, что дает понять, что не отречется она от того, что здесь было. И если Петербург скажет: не было, – то камни Москвы возопиют: было! было!

И вот еще что. Как это ни странно, но в некоторых уголках Кремля я чувствую себя, как на старых площадях Пизы, Флоренции, Перуджии: недаром строили эти

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
соборы и башни, вместе с русскими каменщиками, итальянские зодчие. Я здесь ближе к подлинной святой Европе, чем в Петербурге. И пусть это первое прикосновение русского духа к духу всемирному – слепое, слабое, сонное, для нас теперь уже невозможное, но оно все-таки правдивое, без тех двусмысленных петербургских «кумплиментов» («Приклады како пишутся кумплименты». Спб., изд. 1717 г.), о которых говорит Антиох Кантемир в своих виршах:

Иной бедный, кто сердцем учиться желает,  
Всеми силами к тому скоро поспешает;  
А пришед кумплиментов увидит немало,  
Высоких же наук там тени не бывало.  
Ну, тень-то, пожалуй, и была, но именно только тень, сон: «проснется, кому все это грезится, – и все вдруг исчезнет».

Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек. Москва выросла – Петербург выращен, вытасен из земли или даже просто «вымышлен».

«В 1714 году Петр задумал умножить Петербург; заметив, что в городе медленно строились дома, царь запретил во всем государстве, кроме Петербурга, сооружать каменные здания, с угрозой в противном случае разорения имения и ссылки. Постановлено было на всех судах, приходивших в Петербург через Ладожское озеро, также на всех подводах привозить камень и сдавать его обер-комиссару. Кто не исполнял этого положения, с того доправлялось еще за каждый камень по гривне».

Еще бы не «умышленный» город!

Рабочие, которых сгоняли, как скот, со всех концов России, пели заунывную песню:

Подымались добры молодцы,  
Добры молодцы, люди вольные,  
Все ребятушки понизовые  
На работу государеву.  
Один из этих вольных людей на Васильевском славном острове корабли снастит и на вопрос красной девицы, зачем он это делает, отвечает:

Что ты, глупая, красна девица,  
Неразумная дочь отецкая:  
Не своей волей корабли снащу,  
Не своею я охотою, –  
По указу государеву,  
По приказу адмиральскому.  
Воплощение этой «не своей воли» и есть Петербург.

При возведении первоначальных укреплений нужна была земля, а ее поблизости не находилось: кругом была только трясына, покрытая мхом; землю таскали к бастионам из дальних мест в старых мешках, рогожах или даже просто в полах платья. Люди оставались без хлеба, без крова и мерли, как мухи. Покойников не успевали хоронить и волокли, как падаль, в общую яму. Сооружение Петропавловской крепости стоило жизни ста тысячам переселенцев. О Петербурге сказано:

Богатырь его построил,  
Топь костями забутил.  
Недавно, по поводу холеры, один врач в городской думе заметил с циничной, но живописной грубостью, что «весь Петербург стоит на исполинском нужнике».

Красуйся, град Петра, и стой  
Неколебимо, как Россия!  
Ужасно то, что этот исполинский нужник – исполинская могила, наполненная человеческими костями. И кажется иногда в желтом тумане, что мертвецы встают и говорят нам, живым: «Вы нынче умрете!» – как сказал Печорин Вуличу, заметив на лице его «странный отпечаток неизбежной судьбы».

«Медный всадник» – «петербургская повесть» – самое революционное из всех произведений Пушкина. «Пушкин представлял поэму в цензуру, – говорит Ефремов, – но разрешения на напечатание не последовало». Если бы поэму поняли как следует, то, чего доброго, и в наши дни не последовало бы

разрешения.

Под видом смиренной хвалы тут становится дерзновенный вопрос о том,

чьей волей роковой

Под морем город основался, –

обо всем «петербургском периоде русской истории».

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте уздой железной

Россию вздернул на дыбы?

«Дыбой» называлось орудие пытки, на котором били кнутом. Сын Петра, царевич Алексей, за два дня до смерти, вздернут был в застенке на дыбу – «дано двадцать пять ударов» – и спрашиван о всех его делах, и по расспросам и с розыску, сказал: «Учитель-де Вяземский в разговоре с ним, царевичем, говаривал: Степан-де Беляев с певчими при отце твоём поют: Бог, идеже хочет, побеждается естества чин; а то-де все поют, маня (льстя) отцу твоему; а ему-де то и любо, что его с Богом равняют». «Бог, идеже хочет, побеждается естества чин» – это значит: волею Бога побеждаются законы природы, совершается чудо. Петербург и есть такое чудо. Здесь «чин естества» побежден «чудотворным строителем» – не человеком, а «Богом». Феофан Прокопович называл его «Христом», а раскольники называли «антихристом». Петербург – вечная дыба, на которой пытаются, – Христос или антихрист? Достоевский понял, что в Петербурге Россия дошла до какой-то «окончательной точки» и теперь «вся колеблется над бездной».

... над бездной...

Россию вздернул на дыбы.

Но нельзя же вечно стоять на дыбах. И ужас в том, что «опустить копыта» – значит рухнуть в бездну.

И тут уже дерзновенный вопрос переходит в дерзновеннейший ответ, в безумный вызов:

Добро, строитель чудотворный!

.....

Ужо тебе!..

Это и есть первая точка нашего безумия, нашего бреда, вашего ужаса:

Петербургу быть пусту.

И вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось

Ему, что грозного царя,

Мгновенно гневом возгоря,

Лицо тихонько обращалось

Лицо Бога обращается в лицо демона. И все мы, как этот «безумец бедный», бежим и слышим за собой, –

как будто грома грохотанье –

Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой.

Бежим, как мыши от кота. Но сначала кот ловит мышей, а потом кота мыши хоронят. «Мыши кота хоронят» – лубочная картинка на кончину Петра I, а может быть, и на конец «всего петербургского периода русской истории».

«По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели». Это Акакий Акакиевич. Мертвец ухватил за воротник «одно значительное лицо»: «А, так вот ты, наконец... Я тебя того»... «Ужо тебе!»

Навстречу Медному всаднику несется Акакий Акакиевич. И не он один.

Бесчисленные мертвецы, чьими костями «забучена топь», встают в черно-желтом, холерном тумане, собираются в полчища и окружают глыбу гранита, с которой Всадник вместе с конем падает в бездну.

В «Призраках» Тургенева тотчас же после видения Петербурга возникает иное видение: «Что-то изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы, – не туча и не дым – медленно, змеиным движением, двигалось над землей... Гнилым, тлетворным холодом несло... От этого холода тошило на сердце, и в глазах темнело, и

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
волосы вставали дыбом. Это сила шла: та сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла – все видит, все знает и, как хищная птица, выбирает свои жертвы, как змея, их давит и лижет своим мерзлым жалом...»

«Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне мгновенно встал и взвился под самое небо...»

Тут, конечно, Тургенев вспомнил Апокалипсис: И я взглянул, и вот Конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть.

Несколько лет назад в один морозно-ясный день появились вокруг низкого солнца над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние. Видевшие помнят ли или забыли, как забывают ныне все, что было? Было, как бы не было.

Когда я смотрел на это знаменье, то казалось, вот-вот появится «Конь бледный и на нем всадник, имя которому смерть».

Смерть России – жизнь Петербурга; может быть, и наоборот, смерть Петербурга – жизнь России?

Глазами смотреть будут и не увидят, ушами слушать будут и не услышат. Не увидят Всадника на бледном коне, не услышат трубного голоса: Петербургу быть пусту.

КОНЬ БЛЕДНЫЙ

I

Русское освобождение бессловесно. Ни единым звуком не отразилось оно в русском слове, достойном этого имени. «Бесы» Достоевского – не отражение прошлого, а видение будущего – та тень, которая иногда отбрасывается великими событиями вперед. К тому же тень искажающая, карикатура, внушенная такой злобой, что хочется спросить: где же всем бесам бес – уж не в самом ли Достоевском?

Но карикатура исполинская. А прочее – смердяковское зеркальце, вздумавшее отразить Божию грозу.

Так, вероятно, и должно быть; так и бывает всегда. Океан с берега кажется плоским; чтобы поднялся горизонт нужно самому подняться; отойти от великого, чтобы измерить величие. Столетие нужно было Петру, чтобы отразиться в «Медном всаднике», и полстолетия – двенадцатому году, чтобы отразиться в «Войне и мире».

Хорошо или дурно русское освобождение, оно, во всяком случае, не меньше, чем Петр и двенадцатый год Дасть Бог, дождетя и оно великого слова.

А пока помолчим. Среди этого вольного и невольного молчания единственный звук – маленькая книжечка, отрывок отрывка, несколько разрозненных листков дневника – «Конь бледный».

Книжечка маленькая, бедненькая, беленькая, точно от испуга вся побелевшая, съезжившаяся, спрятавшаяся под шапкой-невидимкой, с таким выражением лица, как будто хочет сказать: только бы меня не заметили, только бы мне прошмыгнуть.

Я назвал книжку отрывком, – вернее было бы назвать ее оглодышем. Глодала ее, однако, не старая добрая цензура правительственная, а новая, освободительная. Уже при первом появлении «Коня бледного» в «Русской мысли», там вымыли, выстирали все опасные пятна до неприличных дыр. В своем настоящем виде книжечка напоминает загадочные картинки или помпейскую живопись. А все-таки давно не появлялось в России такой смелой книги с такой трусливой внешностью.

А пожалуй, и трусить было нечего. В вопросе о том, кому книга опаснее, – сам черт ногу сломит: ломанье же чертовой ноги кое-кому всегда выгодно. Нам такие книги вообще не по зубам. Пожевали, не раскусили и выплюнули.

Сначала как будто и задымил, затрещало где-то; казалось, вот-вот выкинет.

Но залили вовремя.

Успела, впрочем, одна пронизательная сибилла догадаться, что «Конь бледный» – произведение известной декадентской писательницы, которая, не имея никакого понятия о русском терроре, всю эту чепуху высосала из собственного пальца. Вот что значит не в бровь, а в глаз. Сибилла, по крайней мере, утешила, а остальные плели такой вялый вздор, что теперь даже вспомнить нет никакой возможности.

Наконец, самим стало скучно, да и жалко старых зубов. А тут еще подоспели дела важнейшие: еврейский анекдот Чирикова, «национальное лицо» Струве, «Синяя птица», «Вежи» – ну, словом, хлопот полон рот.

Так и забыли о «Коне бледном». Как ключ пошел ко дну. И напрасно «Шиповник» побелел от страха.

В литературе забыли, ну, а в жизни? Забытое литературой не вспомнит ли жизнь?

Ответить на этот вопрос мне труднее, чем кому-либо, потому именно, что в книге чересчур много жизненного, близкого не мне одному. Это наше, но не от нас, а к нам идущее, как грозная лавина, катящееся, как сокрушающее бремя ответственности, падающее. Не оказаться бы нам теми неискренними заклинателями, которые, вызвав духа, не умеют с ним справиться.

Мы роем два подземных хода, не зная, не видя друг друга: каменная толща между нами, но уже звенят удары с обеих сторон; рано или поздно встретимся.

Если бы спросили меня сейчас в Европе, какая книга самая русская и по какой можно судить о будущем России, после великих произведений Л. Толстого и Достоевского, я указал бы на «Коня бледного». Это покажется преувеличенным, но, может быть, не таким чрезмерным, если помнить, что речь идет не столько о книге, сколько о том, что за нею.

Может быть, уже и сейчас для кое-кого это не книга, а острый нож в сердце, своего рода азевовщина, хотя и в ином, обратном, но еще более страшном смысле. Пусть там – конец старого, здесь – начало нового: такое начало для многих страшнее конца.

И что им до того, что книга в литературе не сделает шума? Когда от шума наших печатных листов останется не более, чем от шума прошлогодних листьев, – не перестанут звучать голоса человеческой совести, пробужденные этой книгой, подобно гулу от камня, брошенного в воду.

Не «что я писал, – писал», мог бы сказать написавший «Коня бледного», а «что я сделал, – сделал».

## II

Художник ли он?

Искусство ревниво к действию. Искусство требует совершенного созерцания. А если не метафизически, то эмпирически совершенное созерцание противоположно действию. Это не должно быть так; это будет иначе; но сейчас так, и с этим нельзя не считаться. Нельзя водить по струнам Аполлоновой скрипки мечом, как смычком: или меч притупится, или струны оборвутся.

Искусство – искус, подвиг всей жизни; а писания Ропшина, [3] – это слишком чувствуется в них самих, – только отдых между двумя иными искусствами, остановка между двумя иными действиями. Песня воина.

Мне борьба мешала быть поэтом,  
Песни мне мешали быть бойцом.  
Вот опасность Ропшина: от одного берега отплыл, к другому не пристал;  
полусозерцатель, полудеятель; земноводное, оборотень. Это, впрочем,  
повторяю, не гибель, а только опасность. Ропшин человек смелый, а смелых  
Бог хранит.

И все-таки иногда кажется, что для него самого было бы лучше, если бы книга осталась ненаписанной. Он увидел в ней слишком многое, чего нельзя забыть. А не забыв, – не забудешь; не забывшись, – не сделаешь.

Для него самого, но не для нас. Ему урон – прибыль нам. В книге есть то, что не всегда бывает в величайших созданиях искусства. Последняя глубина созерцания – только в последней глубине действия. Брут знал о Цезаре то, чего не знает Шекспир. Будь семи пядей во лбу говорящий о деле, – не сделавший не скажет того, что сделавший.

«Помню, я сидел в тюрьме и ждал казни. Днем я лежал на железной койке и читал прошлогоднюю „Ниву“... Как-то не верилось в смерть. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита жизнь; не рождалось сомнение, что там – за темную грань. А вот помню: меня занимало, режет ли веревка, больно ли задыхаться. И часто вечером, после поверки, когда на дворе затихал барабан, я пристально смотрел на желтый огонь моей лампы, стоявшей на покрытом хлебными крошками тюремном столе. Я спрашивал себя: нет ли страха в душе? И отвечал себе: нет. Потому что мне было все – все равно...

А потом я бежал».

У кого не было веревки на шее, тот не написал бы так. Может быть, написал бы художественнее, трогательнее, страшнее, как Л. Андреев – «Семь повешенных», – но не так.

Красота слова – красота дела. Может быть, говорить о ней, любоваться ею грешно, но таков уж первородный грех всякой эстетики, всякой словесности.

Мы все – эпигоны, последыши, александрийцы, собиратели недожатых колосьев; слово для слова, а не для дела – вот наша «бледная немочь». Чтобы вылечиться, надо вернуться к делу. Хорошо говорит только тот, кто хорошо делает.

Ничего лишнего, ничего украшающего. Красота слова – простота дела.

И как отдыхаешь на этой классической простоте от сложности дурного вкуса, на этой горной ясности – от болотной мглы «Навьих чар». Как радуешься, что снова понятен русский язык; не нужно чувствовать себя дураком, ломая голову над загадками, которые, разгадав, видишь, что и разгадывать не стоило.

Деловая точность, сжатость, мастерство тех сокращений, которые в живописи называются ракурсами и требуют наибольшей силы кисти, – таковы особенности ропшинского языка. Слова вылетают, как искры, из-под кующего молота.

«В городе едкая пыль и смрад. По пыльным улицам тащатся вереницы ломовиков. Тяжело грохочут колеса. Тяжело везут тяжелые кони. Стучат пролетки. Нюют шарманки. Звонко звонят звонки конок».

Это показалось бы некогда декадентством, но теперь это вошло в язык, привилось к нему, как пушкинская простота и толстовская искренность.

«Мы сидим в грязном трактире „Прогресс“. Хрипло гудит машина. В синем дыму белеют фартуки половых».

Не тот же ли это самый трактир, в котором «русские мальчики» Достоевского ведут апокалипсические разговоры? Да и весь «Конь бледный» – не воплощенное ли видение Достоевского? Кого он звал, те и пришли. У Достоевского геометрия тел, у Ропшина тела; там – будет, здесь – было. Никакой современной книги не прочел бы Достоевский с таким негодованием и любопытством, как этой; ни от какой не почувствовал бы так, что яблочко от яблони недалеко падает.

«Динамит сильно пахнет аптекой, у меня по ночам болит голова... А в сердце святые слова: Я дам тебе звезду утреннюю».

Вот русский стиль начала XX века, как «Бедная Лиза» – XIX. Запах динамита, смешанный с апокалипсическим ладаном. Один волосок отделяет этот ужас от пошлости. Слава Богу, что книга не зачитана!

Печать живого – печать смеха. Среди нас, увы, редчайший дар. Кажется, нам легче умереть, чем усмехнуться. Кто перечтет прелестный рассказ «Не иначе, – кадеты»... или Федора о «солидарной», тот согласится, что со времени Чехова никто не смеялся так, а если признак душевного здоровья – прощающий смех, то и никто не был так здоров.

Достоевский, Ницше, декадентство, символизм, мистицизм – все прошло по этой душе, как вода по кремню. Отточило, но не разрушило; здоровье осталось здоровьем, кремьнь кремнем. И опять – слава Богу!

### III

В маленьком нормандском городке, на берегу океана, против окон рыбацкого домика, где я живу, – городская школа. Я каждый день слышу, как учат детей петь «Марсельезу». Точно так же, как в русских гимназиях учили нас петь «Боже, царя храни». Каждый день слышу и все не могу привыкнуть. Удивительна эта песнь кровавого бунта, распеваемая детскими голосками, как почти колыбельная песенка, республиканское баюшки-баю.

Революция сделалась республикой, насилие – свободой, бунт – послушанием, кровь, пролитая на площади, – кровью, льющейся в жилах детей.

Так было и будет всегда.

«Убить всегда можно», – говорит Жорж, русский террорист, герой «Коня бледного». Дети в школе поют – и броненосцы, и дальнобойные орудия, и военные аэропланы твердят: «Убить всегда можно».

Кому и во имя чего можно убить, – иногда меняется, но что всегда можно – остается неизменным.

Это основная, хотя неписаная, статья всех законодательств; краеугольный, хотя невидимый, камень государственного права. Выньте этот камень, и здание рухнет. Нет насилия – нет и закона; нет закона – нет и государства. Никто никогда не говорит, что это так; но все всегда делают, чтобы это было так.

Все государственники – бывшие революционеры; все революционеры – будущие государственники. От Робеспьера до Наполеона один шаг; правда, нужно быть Наполеоном, чтобы сделать этот шаг. Всякая государственность – застывшая революция; всякая революция – расплавленная государственность.

Законное насилие для нас почти неощутимо, потому что слишком привычно. Нельзя не дышать; дышим и законодательствуем; дышим и насилуем, проливаем кровь. Это ежедневное, ежечасное, ежесекундное кровопролитие так же безболезненно, как правильное движение крови в жилах. Эта по капельке сочающаяся или только испаряющаяся кровь бесцветна, как воздух, безвкусна, как вода.

Но стоит ринуться толпе к Бастилии уже не с детской «Марсельезой» – и привычное становится необычным; вкус крови – острым, лакомым или отвратительным; утверждение: «убить всегда можно», – недоумением: когда можно и когда нельзя?

Самое опасное для государства во всех революциях – не насилие, а вот этот вопрос о возможности, о святости насилия, т. е. о самом бытии государственном, неосторожное прикосновение к тому Соломонову перстню, в котором заключен грознейший из демонов бунта. Тысячи насилий, тысячи убийств невиннее перед лицом государства, чем этот вопрос, произнесенный шепотом. «Только не прикасайтесь к этому, не будите этого, не ворошите, – тут место зачатое, проходите мимо. *Circulez, messieurs, circulez!*» – как французские сержанты, – «честью просят» нас все государственники и все революционеры.

Во всякой революции наступает такая решительная минута, когда кому-то кого-то надо расстрелять, и притом непременно с легким сердцем, как охотник подстреливает куропатку. А если возникает малейшее сомнение, то все к черту летит – революция не удалась.

Вопрос о насилии, метафизический, нравственный, личный, общественный, возникал во всех революциях. Но ни в одной не обнажалось его значение религиозное с такой неотразимой ясностью, с такою режущей остротой, как в русском освобождении. И это вовсе не потому, что мы избранники. А просто времена уже не те. Наступило лето – побелели жатвы. Можно, конечно, и теперь, после «Войны и мира», «Преступления и наказания», стрелять в людей, как в куропаток, – но уже нет-нет, да и заскребнут на сердце кошки. Соломонов перстень разбит – не спаяешь; вырвался из него демон. Вот,

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
кажется, главная причина того, что русское освобождение не удалось.

Не так уж мы, в самом деле, бездарны; не боги горшки обжигают. Если бы мы шли определенно и сознательно от одного государственного порядка к другому, от известного к неизвестному, то, по всей вероятности, давно уже были бы у пристани. Но мы отплыли от всех берегов и пустились в открытое море, в поисках града Божьего. Немудрено, что потерпели крушение.

Здравый смысл мог бы посмеяться над нами: ловили журавля в небе и выпустили синицу из рук; захотели «того, чего не бывает на свете», и получили шиш.

Но последний суд над всемирной историей не всегда принадлежит здравому смыслу. И не ему – лучший, потому что последний, смех.

Кто знает, может быть, величие русского освобождения заключается именно в том, что оно не удалось, как почти никогда не удается чрезмерное; но чрезмерное сегодня – завтрашняя мера всех вещей. Может быть, величие русского освобождения в том, что не променяло оно своего первородства на чечевичную похлебку.

В древней антологии есть надгробная надпись: «Потерпевший крушение на этом берегу мореплаватель говорит тебе: подними паруса; ветер, погубивший нас, умчал в море стаю кораблей».

Не должны ли мы сказать освобождению грядущему: подними паруса.

#### IV

«Убить всегда можно» – ответ на вопрос: «если любишь, можно тогда убить или нельзя?»

Спрашивает об этом террориста Жоржа его противоположный двойник, террорист Ваня. Жорж и Ваня – два воплощения одного духа, две стороны одного лица, – как бы Иван Карамазов и Алеша русской революции. В их противоположности, в их соединении – будущее.

«– Убить всегда можно.

– Нет, не всегда. Нет, убить – тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други свои положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять; нужно из любви, для любви на все решиться. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь... И ведь знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест... Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем... Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и крови.

– Так не убий. Уйди.

– Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот, душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не идти, ибо я люблю. Если крест тяжел, – возьми его. Если грех велик, – прими его. А Господь пожалеет тебя и простит. – И простит, – повторяет он шепотом».

И, когда уже идет на убийство, вопрос этот возвращается, повторяется, как однообразный напев.

«– Ну, Жоржик, прощай. навсегда прощай. И будь счастлив.

– Ваня, а не убий!?

– Нет, Жоржик, нет.

– Это ты говоришь?

– Да, я говорю. Чтобы потом не убивали. Чтобы потом люди по-Божьи жили, чтобы любовь освящала мир.

– Это кощунство, Ваня.

– Знаю. А не убий?..»

«Не убий», противопоставленное как последнее «нет» закону последнему «да» любви – разве не кощунство?

«Я исполнил мой долг, – пишет он из тюрьмы перед казнью. – Жду суда и спокойно встречу приговор. Может быть, тебе странно, что я говорил о любви и решился убить, т. е. совершил тягчайший грех против людей и Бога. Я не мог. Будь во мне чистая и невинная вера учеников, было бы, конечно, не то. Я верю: не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не знал в себе силы жить во имя любви и понял, что могу и должен во имя ее умереть».

Умереть – убить. Убить другого – самому умереть вечной смертью, положить не жизнь, а душу свою за любовь.

«У меня нет раскаянья, нет и радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю: смерть не есть искупление. Но знаю также: „Аз есмь Истина, и Путь, и Живот“. – Люди будут судить меня. – Кроме их суда будет, я верю, суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христово не имеет границ».

Жорж, читая это письмо, счастлив, как будто знает, что Ваня спасен, – и его, Жоржа, еще не любящего, не верующего, своей любовью и верой спасет...

«Светлым праздником, торжественным воскресением звучат пророческие слова: „От престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось“».

«Я счастлив: да, совершилось».

Кощунство, – скажут люди, религиозно оправдывающие противоположное государственное насилие. Что в их устах само слово о кощунстве – кощунство, – в этом нет сомнения. Но ведь не только им, а и Ване «убий» и «не убий» кажутся двумя равными кощунствами.

В чем же дело? Откуда этот вопрос? И почему у обеих сторон одинаковое забвение всемирной истории? Вот уже почти два тысячелетия, как люди только и делают, что убивают во имя Христа, и видят в этом не кощунство, а святость. Свят Сергий Радонежский, благословляющий воинов; свят Александр Невский, растопивший лед кровью; почти свят Суворов, при взятии Праги наваливший груды на груды человеческих тел. И мы, грешные, до сих пор чувствуем, что эти святые были святы, – иначе, нет у нас родины, нет прошлого, нет будущего. – А никому из них в голову не приходило спрашивать: можно ли воевать-убивать во имя Христа? Еще бы нельзя, когда свято. Но вот люди без роду, без племени, сегодняшние убийцы, завтрашние висельники спрашивают о кощунстве там, где святые не спрашивали; видят предел святости там, где святые не видели. Не когда и за что, не кому и кого можно, – а можно ли вообще когда бы, за что бы, кому бы и кого бы то ни было убивать во имя Христа, – спрашивает Ваня.

И единственные два ответа – государственно-революционное «убий», «разрешение крови по совести» и мнимо-христианское, подлинно-буддийское, толстовское, духоборческое «не убий», «непротивление злу насилием» – одинаково плоски, нерелигиозны, кощунственны. В обоих ответах глубина вопроса не услышана. Как будто спрашивающий не знает, что нельзя убить, что убийство неискупимый, «тягчайший грех против людей и Бога», вечная гибель; но вместе с тем знает он, что надо убить, надо погибнуть, принять грех, «положить не жизнь, а душу свою за любовь», в меру любви; – если же мера любви его – не жизнь, а смерть: умереть – убить, – то это не его вина, он больше любить не может. Кто любит больше, пусть первый бросит в него камень.

Нельзя и надо. Надо и нельзя. Весь вопрос в том, как выйти из этого противоречия.

Это не противоположность добра и зла, закона и преступления, кощунства и святости, а противоречие в самом добре, в самом законе, в самой святине. Это, может быть, не только человеческая, но и божественная антиномия Ветхого и Нового Завета, Отца и Сына.

«Цепь неразрывная. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово

Мережковский Д. Больная Россия filosoff.org  
верю, поклоняюсь Христу. Больно мне, больно...»

Пусть боль не искупает, не оправдывает; – но, с такой болью кто шел ко Христу? С такой болью и с такой надеждою?

Светлым праздником, торжественным воскресением звучат пророческие слова: «От престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось».

«Я счастлив: да, совершилось».

Пусть это кощунство; – но с таким кощунством и с такой жаждой святости кто верил во Христа?

Да, вот что страшнее всего: небывалое. Во всяком страдании человек может утешиться: не я первый, – это было и с другими людьми до меня. Но этого утешения для Вани уже нет. Того, чем он страдает, не испытывала еще ни одна душа человеческая. Он один, он первый. Без опыта, без помощи. Гибнет или спасается – за свой собственный страх.

И не поможет ему вся мудрость мудрецов, вся святость святых. Спрашивает – и люди молчат, небо молчит, как будто само Слово молчит, может быть, потому, что не исполнились еще времена и сроки, чтобы ответить. Но и замолчать вопрос, уйти от него уже нельзя, некуда – поздно.

«Исхода нет», – говорит Ваня. Но знает, что есть или будет исход, хотя, может быть, более страшный для человеческого разума, чем сама безысходность. Он также знает, что разум – не все, что, «кроме разума, есть еще что-то, да шоры у нас на глазах – не видим, не знаем».

На религиозный вопрос о насилии может ответить не разум, а только это именно «еще что-то», большее, чем разум.

«Трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилие тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем „не убий“? А вот нету в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но послушай и сам скажи, сказка или нет».

И Ваня читает Жоржу Евангелие о воскрешении Лазаря, о воскресении Христа.

Вопрос о насилии – вопрос о чуде.

Государственный порядок – продолжение порядка естественного; законы государственные – продолжение законов природы: государство так же естественно, природно человеку, как пчеле – улей, муравью – муравейник.

Закон государственный – звено в той цепи причинности, необходимости, которую разум человеческий считает своим собственным верховным законом. Нельзя мыслить разумно, вне закона причинности; нельзя жить разумно, вне закона государственного. Но, если, кроме разума, есть «еще что-то», то и кроме государства. Выход из порядка естественного, разумного, необходимого, государственного, прерыв в цепи причинности и есть чудо. Отрицание насилия государственного, отрицание необходимости и есть утверждение чуда. Крайнее насилие природы – смерть, крайнее насилие человеческое – убийство. «Убить всегда можно», – говорит закон человеческий вместе с природой. Не убьешь – не проживешь. Сказать живущему: не убий – так же трудно, как сказать умершему: воскресни. Победить насилие – значит победить смерть.

Только смертью смерть победивший, воскресший и воскрешающий может сказать: не убий; – может упразднить насилие в свободе, царство от мира сего в Царстве Божием, государство в церкви.

Вопрос о чуде – вопрос о церкви. Церковь – или ничто, «гнусный обман жрецов», или непрестанное, очевидное, всемирно-историческое чудо, ибо церковь совершается Таинством, а Таинство – чудом. Отношение насилия к свободе, необходимости к чуду, есть отношение государства к церкви.

Но вопросы эти уже за пределами «Коня бледного». Он только подходит к ним и через них – к нам, потому что мы – воплощенный вопрос о церкви.

Достоевский все это предвидел. Но лишь предвидел, а не испытал. Испугался и спрятался. В религиозном вопросе о насилии между Достоевским и «Конем бледным» – такая же разница, как между химической формулой взрыва и

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
взрывом. Тот сказал, этот сделал.

v

Жорж погибает, потому что убил? Нет, скорее наоборот: убивает, потому что погиб.

Почти тотчас после убийства губернатора убивает он мужа своей любовницы.

Глубочайший замысел книги, хотя слишком слабо намеченный, – параллелизм этих двух убийств, параллелизм пола и общественности – двух сообщающихся сосудов, в которых жидкость стремится к одному уровню. Быть в роде – значит быть в государстве. Начало родовое, безличное – начало государственное. Любить женщину без ревности, без насилия над личностью – такое же чудо, как любить родину без революционного или государственного насилия. Между браком и блудом нет границы вне церкви – вне чуда. Прелюбодеяние – половое убийство.

О, как убийственно мы любим!  
Как в буйной слепоте страстей  
Мы то всего вернее губим,  
Что сердцу нашему милей!  
Любить – убить. «Убить всегда можно», – говорит он. «Любить всегда можно», – говорит она. «Зачем ты так говоришь: то можно, то нельзя?.. В счастье нет греха... Почему я должна любить одного?.. Зачем выбирать?»

Она повторяет его же слова, и ему ответить нечего. «В моем желании – мое право. Я так хочу», – не ответ. «Ты для себя лишь хочешь воли», – могла бы она возразить, как Земфира. Одно и то же смердяковское: «все позволено», – у нее в поле, у него – в общественности. Один уровень в двух сообщающихся сосудах.

Когда он думает о сопернике, ему кажется, что он думает не о нем, а о той, кого уже нет: «Мне кажется, что губернатор все еще жив».

Два убийства – одно.

«До сих пор я имел оправдание: я убиваю во имя идеи, во имя дела. Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Кто судья? Кто судит меня? Кто оправдывает?.. Нету грани, нет различия. Почему для идеи убить – хорошо, для отечества – нужно, а для себя – невозможно? Кто мне ответит?»

В обоих убийствах – самый обыкновенный убийца, разбойник. «Мой разбойничий выстрел выжиг любовь» – любовь не только к женщине, но и к родине. Хуже, чем разбойник, – палач: «я – мастер красного цеха; я опять займусь ремеслом; буду жить смертью».

«Мы – нищие духом, – говорит Ваня. – Чем, милый, мы живем? Голой ненавистью живем... Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего?»

Да, во имя чего? «Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы». Но если последний ответ на все вопросы: «В моем желании – мое право; я так хочу и так делаю», – то свобода одного, произвол одного – рабство всех: «Ты для себя лишь хочешь воли».

«Я верю, что сила ломит солому». Но ведь это и есть вера в абсолютную власть, та самая вера, которой держатся все черные сотни, все старые порядки, в том числе и русский. Он, кость от кости, дитя старого порядка. От него и к нему идет. Как будто борется с ним, отрицает, а на самом деле помогает, утверждает. Мнимая революция – подлинная реакция.

Революция для него не общественное, а личное дело. «Я один. Я ни с кем. – То – Комитет, а то – я»... – говорит он члену центрального комитета и мог бы сказать всей России: то – Россия, а то – я. Государство – это я. Революция – это я.

Нерелигиозное самоутверждение приводит к самоотрицанию, самоубийству личности;

«– Никого ты не любишь, даже себя», – говорит ему Ваня и сравнивает его с остервеневшим от злобы извозчиком, который хлещет лошаденку вожжей по

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
глазам. «Так и ты, Жоржик, всех бы ты вожгой по глазам. Эх, ты, бедняга!»

Не сильный и страшный, а слабый и жалкий человек. Это слабость и жалкость всей русской революции.

Суд любви – страшный суд. Насколько страшнее, чем суд ненависти! Какой детский лепет перед этим судом все обличения «Вех»! Как беспомощны все науськивания и подсиживания не только современных бесенят, но и «Бесов» Достоевского!

«Бог есть любовь. – Я не люблю и не знаю Бога. – Проклят мир. – Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. – Я могу сказать про себя: „Я взглянул – и вот Конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть“».

Это самоосуждение революционера было бы осуждением революции, если бы не было Вани. Напрасно Жорж хочет стереть то, что их разделяет.

«Ваня верил во Христа, я не верю. Я лгу, шпионю и убиваю. Ваня лгал, шпионил и убивал. – В чем же разница между нами?»

Гибелью своей ответил он на этот вопрос. В гибели Жоржа – последнее «нет»; в гибели Вани – последнее «да» освобождения. Один весь – любовь; другой – весь ненависть. Один знает, во имя чего борется; другой не знает. Для одного – «нельзя и надо»; для другого не надо, хотя и можно. «Я не хочу убивать. Зачем? – ничего больше делать не буду. Прощайте». Жорж уходит; Ваня приходит. Тот – конец старого; этот – начало нового.

Но недаром любят они друг друга, как братья-близнецы. Ваня отвечает за Жоржа, как прошлое отвечает за будущее. Недаром прозвучали некогда и в сердце самого Жоржа святые слова: я дам тебе звезду утреннюю. «Светлым праздником, торжественным воскресением», может быть, прозвучат для него когда-либо и эти святые слова, с которыми Ваня умирает:

«– Я верю: вот идет дело крестьянское, христианское, Христово. Во имя Бога, во имя любви. Маловеры мы и слабы, как дети, и поэтому поднимаем меч. Не от силы своей, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут, – мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим».

Пусть наши кости сгнут прежде, чем исполнится это пророчество; – уже и теперь могут указать на него в ответ на обычную провокацию: «Где ваши дела?» – люди, верящие в религиозную правду освобождения: это сказано – сделано, ибо, кто сказал, тот и сделал.

Повторим же вместе с Ваней: «Будет удача! Услышит Господь моления наши».

Не знаем, когда, где и как, но знаем: будет.

ГОЛОВКА ВИСНЕТ

Туда, где смертей и болезней  
Лихая прошла колея, –  
Исчезни в пространство, исчезни,  
Россия, Россия моя!  
Андрей Белый  
I

– Кабы не мучился-то, так ништо бы, – рассказывает мавра о своем умершем ребеночке. – А мучился-то как... покою ему сколько ден не было. Возьму на руки, головка-то и виснет, так и виснет. Плакать даже не плачет, а мне в глаза смотрит. – Что, мол, тебе, Васюта? Чего тебе не дать ли, мол, ласковый? – А он смотрит. А потом тихонько так: «Молочка бы ты мне, мамка, – да не хоцца...» («Черное по белому». З. Н. Гиппиус).

Кажется иногда, что современная русская общественность похожа на больного Васюта. Чего тебе не дать ли, мол, ласковый? Хочешь богоискательства или богостроительства? Хочешь «Великой России» или булгаково-бердяевского православия, или антисемитизма, или филосемитизма, или порнографических «Необузданных скверн», или просто, наконец, андреевской «Тьмы»? А Васюта только в глаза смотрит, а потом тихонечко так: «Молочка бы ты мне, мамка, –

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
да не хоцца»... И головка виснет.

Мы утешаемся тем, что побеждены «силою штыков» и что реакция наша – случайная, внешняя, политическая. Но так ли это в действительности? Не в том ли главный ужас наш, что переживаемое нами внешнее отступление есть внутреннее отступничество, что наша явная политика есть тайная метафизика?

У других народов совершается реакция по естественному закону механики: угол падения равен углу отражения; как аукнется, так и откликнется; у нас – по какому-то закону сверхъестественному: угол отражения равен  $x$ ; аукнется так, а откликнется черт знает как.

У других народов реакция – движение назад; у нас – вперед, подобно течению реки, стремящейся к водопаду, к еще невидимой, но уже притягивающей, засасывающей пропасти.

У других народов реакция – от революции; у нас революция или то, что кажется ею, от реакций: чересчур сдавят горло мертвой петлей – и мы начинаем биться в судорогах; тогда петлю стягивают крепче – и мы цепенеем вновь.

У других народов реакция есть явление вторичное, производное; у нас первичное, производящее: не убыль, а прибыль, не минус, а плюс – хотя, конечно, ужасный и отвратительный плюс.

Кажется иногда, что эта первичная реакция есть *prima materia*, первоначальное вещество России; что сердце наших сердец, мозг наших костей – этот разлагающий радий; что Россия значит реакция, реакция значит Россия.

Если у других народов некоторая степень революционного жара – нормальная температура крови 37 градусов, то у нас, как у рыб и земноводных, температура ниже нормальной: Россия в революции – такая же биологическая нелепость, как лягушка или рыба в горячем жару, с температурой в 40 градусов.

Кажется иногда, что в России нет вовсе революции, а есть только бунт – январский, декабрьский, чугуевский, холерный, пугачевский, разинский – вечный бунт вечных рабов.

## II

Четырнадцатого декабря на Исаакиевской площади, целый день, с утра до вечера, толпа стояла и кричала: ура! Иностранцы удивлялись этому «стоячему бунту». Сами заговорщики не знали, что делать. Диктатор, князь Сергей Трубецкой, спрятался в какое-то правительственное учреждение, чуть ли не в канцелярию военного штаба, и дрожал, и плакал от страха, как женщина. Долговязый, нелепый, похожий на большого, вялого комара, русский немец Кюхельбекер, смешной и добрый Кюхля, с незаряженным пистолетом, расхаживал по площади. Не ему одному, а всем было «кюхельбекерно и тошно» и всем, кажется, стало легче, когда государь велел стрелять в толпу картечью: поняли, наконец, что надо делать.

– Умрем! Ах, как мы славно умрем! – говорил накануне молоденький заговорщик, похожий на шестнадцатилетнюю девочку.

Уже тогда, в этом «стоячем бунте», началась «всероссийская забастовка». Революция наша и есть, по преимуществу, забастовка, остановка, неподвижность в самом движении, неделание в самом делании. Пока движемся куда-то, делаем что-то, бунтуем – мы в положении противоестественном, как бы на голове ходим, обезьянничаем, подражаем Европе; но только что начинаем пятиться, каяться, отдаваться реакции, – находим себя, становимся «истинно русскими людьми», не на голове ходим, а на резвых ножках бегаем. Мы – Ванька-встанька: как бы не завалила нас революция, реакция выпрямит.

Читая покаянные письма декабристов к Николаю I, не веришь глазам, – это ли вчерашние мятежники, цареубийцы? Революция сползает с них, как истлевшие лохмотья, открывая голое тело реакции.

«Божий перст и царский гнев на мне тяготят, – пишет Александр Бестужев. – Я чувствую, что употребил во зло свои дарования, что мог бы принести честь своему отечеству, жить с пользой и умереть честно за своего Государя... Но

Царь есть залог Божества на земле, а Бог милует кающихся».

Убежав с площади, – хотя вовсе не был трусом, картечь пробила ему шляпу на волос от головы, – целую ночь и утро ходил он по церквам и, наконец, «решился пасть к стопам государя», пошел в Зимний дворец, донес на себя и на Тайное общество.

Булатов был так потрясен тем, что государь не поверил ему, – что сошел с ума и разбил себе голову о стену каземата.

С полным основанием сказано в «Прибавлении» к «СПб. ведомостям» от 15 декабря 1825 года: «Всяк, кто размыслит, признает, что оный случай есть не иное что, как минутное испытание, которое будет служить лишь к ознаменованию истинного характера нации – непоколебимой верности и общей преданности русских к Августейшему законному их Монарху».

«Несколько человек, гнусного вида во фраках», – как сказано в том же «Прибавлении», напоминают не то будущих «бесов» Достоевского, не то старинных чертей, в образе «поганных ляхов» на иконах Страшного Суда; а Николай I, милующий виновных, четвертование заменяющий виселицей, есть образ «Божества на земле».

О, жертвы мысли безрассудной!  
Вы уповали, может быть,  
Что станет вашей крови скудной,  
Чтоб вечный полюс растопить?  
Едва, дымясь, она сверкнула  
На вековой громаде льдов –  
Зима железная дохнула,  
И не осталось и следов.  
(Тютчев. 1827 г.)

Тогда – лишь ручеек, теперь – водопад крови; но и теперь, как тогда, «не осталось и следов».

Один из последних декабристов, умерший почти на наших глазах, в 1886 году, Матвей Иванович Муравьев-Апостол, признавался перед смертью, что «всегда благодарил Бога за неудачу 14 декабря»; что «это было не русское явление»; что «мы жестоко ошибались»; что «конституция вообще не составляет счастья народов, а для России в особенности непригодна». В годовщину 14 декабря кто-то поднес ему венок. Матвей Иванович «чрезвычайно рассердился и возмутился»; а один из друзей его сказал подносившему: «14 декабря нельзя ни чествовать, ни праздновать; в этот день надо плакать и молиться».

«Сегодня день моей смерти; в молчании и сокрушении правлю я тризну за упокой моей души», – пишет об этой годовщине Александр Бестужев.

Получив известие о 14 декабря ночью, Пушкин ранним утром выехал из Михайловского, по направлению к Петербургу, но, не доезжая первой станции, вернулся, потому что увидел попа и зайца, трижды перебежавшего ему дорогу.

После казни декабристов Николай Павлович вызвал Пушкина в Москву на коронацию и, беседа с ним, между прочим спросил:

– Где бы ты был 14 декабря, если бы находился в Петербурге?

– В рядах мятежников, ваше величество.

Государь посмотрел на него и вдруг усмехнулся: откровенность обезоружила «рыцарское сердце» Николая.

Лет шесть назад, еще до ссылки, когда распространился в Петербурге и дошел до самого Пушкина слух, будто бы «высекли его в тайной канцелярии», он, по собственному признанию, размышлял: «Не приступить ли мне к самоубийству или?..» Или к тому, чего он и назвать не смеет.

Неужели же не почувствовал певец вольности, что московская откровенность хуже петербургских розог?

В предсмертной агонии, уже причастившись, велел он камердинеру подать ящик с пистолетами: хотел покончить с собой, чтобы избавиться от непереносимых мучений. Когда же принесли записку от государя, прижал ее к губам, не

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
соглашался отдать и умолял, чтобы позволили ему умереть с нею.

– Скажи государю, что мне жаль умереть: был бы весь его, – сказал умирающий Жуковскому.

В такие минуты не лгут. Самоубийство – непокорность Богу; царю Пушкин покорнее, чем Богу.

Вот глубина русской реакции – не политическая, не эмпирическая, не здешняя – трансцендентная. Реакция – религия. Кажется иногда, что последняя сущность России – религиозная воля к реакции.

Нет, что уж тут говорить о штыках! Если кто чем оправдан, то не мы – штыками, а нами – штыки.

С богатырских плеч  
Сняли голову  
Не большой горой,  
А соломинкой.  
Соломинка сильнее штыков. От нее-то «головки так и виснут, так и виснут».

III

О 9 января могли бы сказать кающиеся ныне то же, что декабристы о 14 декабря: «В этот день надо плакать и молиться».

– Если бы снова началась революция, я не вышел бы из комнаты! – объявил мне бывший член «христианского братства революционной борьбы».

– Вот когда отхлестаем мы по щекам эту подлую русскую революцию, эту подлую русскую интеллигенцию! – воскликнул бывший марксист, теперешний «национал-либерал», заговорив со мною о книге, в которой русскую интеллигенцию русские интеллигенты собираются подвергнуть Страшному Суду.

Я хотел было напомнить ему, что какова ни на есть русская интеллигенция, она все же единственная, другой нет и неоткуда взять, – да так и не решился; он захлебывался от ярости; казалось, что этот благовоспитанный человек вот-вот разразится непристойной бранью.

Не звучит ли в современных поношениях русской интеллигенции – пусть виновной, но все же матери, русскими интеллигентами, пусть невинными, но все же детьми, – эта неслыханная в веках и народах, истинно-русская матерная брань?

Я промолчал – да он бы и не услышал меня: уже горел в глазах его тот восторг самобичевания, самоистребления, то сладострастие позора, которые в области нравственной соответствуют физическому сладострастию побоев, мазохизму. Недаром, видно, русская реакция совпала с русской порнографией: все эти кающиеся похожи не то на солугубовских мальчиков, которых другие секут, не то на гоголевскую унтер-офицершу, которая сама себя высекла, и чья-то «милостивая усмешка» приосеняет это добровольное сечение.

– Содрать бы с себя интеллигентскую шкуру, превратиться в обывателя – вот с чего надо начать! – накинулся на меня другой бывший марксист, теперешний православный.

– Послушайте, голубчик, – попытался я заметить, – для вас как будто и само православье только обывательщина?

– Вот именно! – обрадовался он какой-то свирепой радостью. – Обывательщины-то нам и нужно! Все наше спасенье в обывательщине!

Это вчера вечером, а сегодня утром зашел ко мне бывший декадент, теперешний бог весть кто или что – какая-то воплощенная Недотыкомка с окончательно повиснувшей головкой.

– Бросить все, уйти от всего, уехать в провинцию и сделаться учителем арифметики в младших классах прогимназии! – мечтал он вслух.

– К обывательщине вернуться? – вспомнил я вчерашнее.

– Ну да, к обывательщине, если угодно, – к реализму от романтизма, к воде от вина.

И принялся толковать длинно-длинно, скучно-скучно о том, что общий грех русского декадентства и русской революции – неутолимый романтизм, жажда опьянения.

– Ну, чего другого, а трезвости-то у нас нынче, кажется, довольно, – прошамкал я, подавляя зевоту.

– Не трезвость, а похмелье: от одной рюмки опять опьянеем...

И вновь слова полились, однозвучные, как дождевая капля из водосточного желоба. Говорил он о том, чего ему хочется, а мне только слышалось: «Молочка бы ты мне, мамка... да не хоцца»...

– Чистейшей воды реакция! – не удержался я, наконец, – зевнул во все горло.

– Реакция? – встрепенулась Недотыкомка и даже подняла головку. – Ну, да, конечно, реакция! – согласился и обрадовался так же, как мой вчерашний собеседник, только не буйной, а тихой радостью, как будто весь просветлел – неугасимой лампадой затеплился.

– Реакция! Реакция! – шептал, как шепчет в бреду умирающий от жажды: вода! вода!

#### IV

Сектант, молоканин с Урала, пишет мне об Александре Добролюбове, тоже бывшем декаденте, ушедшем в народ:

«Живет в рабьем зраке, занимается поденными работами, землекопом; проповедует свою истину тайно; более скрывается в банях и на кухнях. Смотришь – придет в дом, войдет в кухню, и потом к нему туда водят, по одному человеку, на беседу. Около девятисот душ отколол в свою веру от Собрания нашего.[4] Последователи брата Александра находят лишним и моление, и пение, видимые. Прежде много пели, а потом брат Александр сказал, что „граммофон ни к чему“, – и перестали петь. И молиться никогда не молятся, а вот их обряд: сидят за столом и хоть бы показали вид, что сердечно вздыхают; сидят поникши, кто где сел, пока кто-нибудь не скажет или запоет, тогда поют, но нехотя, а чтобы кто помолился, этого совсем нету.

Дорогие братья! Может быть, этого всего не нужно – ни петь, ни молиться. Прошу вас, ради Бога, обсудите и пришлите мне для моего подтверждения, потому что я сейчас сильно с этим борюсь и не могу вместить.

О, возлюбленные мои, помогите мне!..»

«Сидят поникши» – когда я прочел это, сердце у меня захолонуло; так вот куда уже проникла зараза виснувших головок! Там пока еще «сильно борются с этим, не могут вместить», кричат: «помогите!» Но никто не слышит.

И вспомнилось мне, как один мой давний приятель, глубокий мистик, хотя и синодальный чиновник, говорил о «жертвенном отношении к власти».

– Чтобы не тронул медведь, надо лечь на землю и притвориться мертвым – не дышать, не двигаться: медведь обнюхает и отойдет. Так и с властью: надо покориться ей, смириться до смерти – до того, чтобы почувствовать себя мертвым – вот как лежит покойник в гробе с венчиком на лбу. Тогда власть перестанет быть страшной, обезоружится – и мы увидим в ней сквозь лик звериный лик Христов.

Вспомнилось и то, что утверждает один современный учитель православной церкви: будто бы главное и, в сущности, единственное христианское таинство – погребение.

От Пушкина и декабристов, через кающихся революционеров, до Александра Добролюбова и этого учителя церкви – не проходит ли одна скрытая нить, один глубочайший уклон русского религиозного духа – от христианства к буддизму, от религии жизни к религии смерти, от воскресения к погребению?

Не здесь ли тот радий, которым излучается темный свет русской реакции? Та «соломинка», которой «с богатырских плеч сняли голову»? Причина того, что не штыками, а голыми руками из нас хоть веревки вей?

V

Кажется иногда, что если и начал растапливаться «вечный полюс» водопадом крови, то для того, чтобы в наступившей оттепели полился водопад грязи, напоминающий те стоки нечистот на петербургских набережных, мимо которых нельзя пройти, не зажав носа, –

Как будто тухлое разбилось яйцо,  
Иль карантинный страж курил жаровней серной –  
для того, чтобы смешался водопад крови с водопадом грязи.

«Соотечественники, страшно! – хочется закричать, как умирающий Гоголь. – Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире».

Хочется закричать, но голоса нет.

Я должен признаться, что сейчас, когда я пишу, у меня самого «головка так и виснет, так и виснет». Уж не покориться ли? Не завалиться ли, как божья коровка, вверх ножками, притворяясь мертвым, – благо. Зверь мертвечины не ест, любит живеньких? Ослабеть и лечь «под сводом шалаша на лыки», подобно рабу, принесшему яд анчара?

И умер бедный раб у ног  
Непобедимого владыки.  
Или бежать?

«Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помутились ваши мысли, и вы подумали бы, как убежать из России», – говорит Гоголь.

Так Чаадаев и Вл. Соловьев бежали в западное христианство, Герцен и Бакунин – в западное безбожие. Так бежал Петр, величайший из русских беглецов, для которых любить Россию будущую значит ненавидеть настоящую.

Как сладостно отчизну ненавидеть  
И жадно ждать ее уничтоженья,  
И в разрушении отчизны видеть  
Всемирного денницу возрожденья!  
Что это – молитва или кощунство? Во всяком случае, никто никогда не молился так или не кощунствовал, кроме нас. Страшные слова эти сказаны в 30-х годах русским человеком, московским профессором, бежавшим за границу и постригшимся в монахи католического ордена Редemptористов, Владимиром Сергеевичем Печериным.

Туда, где смертей и болезней  
Лихая прошла колея, –  
Исчезни в пространство, исчезни,  
Россия, Россия моя!  
Слова эти, еще более страшные, сказаны в наши дни.

«Соотечественники, страшно! – вспомните египетские тьмы. Слепая ночь обняла их вдруг, среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего; все чувства, все побуждения, все силы в них погибли, кроме одного страха».

О ком же это сказано, как не о нас?

Нам нужно выбрать одно из двух: или окончательно предаться египетским тьмам, с окончательно повиснувшей головкой сказать: «Исчезни, Россия моя!», – или найти в бывшем, каково бы оно ни было, не только временную, но и вечную правду, которая соединит бывшее с будущим.

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И СЕРДЦЕ ЗВЕРИНОЕ

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное.  
Даниила, IV, 13.

I

«Надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело. Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою наступит все новое. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится человекобог».

Это исполняется, как по-писаному, в споре социал-демократии с «новым религиозным сознанием». Древний вечный спор богочеловечества с человекобожеством.

«Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои».

Сейчас трудно решить, что происходит: кружится ли пустынный ветер, расходится ли зыбь от брошенного в воду камня, или восходит, взлетает от земли к небу какая-то спираль – исполинская витая лестница Вавилонской башни?

«Социалистическая Вавилонская башня – это, действительно, воплощение современного атеизма», – соглашается Базаров с Достоевским а если так, то необходимая религиозная предпосылка социализма есть атеизм.

Но для того чтобы утвердить атеизм, «разрушить в человечестве идею о Боге», недостаточно одной критики чистого разума. Опровергнув онтологические доказательства бытия Божия, тем же ударом опровергает она и онтологические доказательства безбожия. Есть Бог, и нет Бога, теизм и атеизм – два одинаково произвольных утверждения, две одинаково недоказуемые веры. Мы не знаем, может ли человек установить в религиозном опыте какую-либо связь с нуменальным. Ignoramus, ignorabimus – вот единственный ответ разума на все вопросы веры. Не знаем и никогда не узнаем, не можем и не хотим знать, есть Бог или нет.

Атеизм, в таком чистом виде, критический атеизм – безответен перед всяким религиозным утверждением. Это не отрицательный полюс положительного электричества, а лишь дурной проводник – стекло. Критический атеизм – пустое место в религии; не отрицание Бога, а лишь отсутствие вопроса о Боге.

Необходимая предпосылка социал-демократии как религии – атеизм не критический, а догматический; не критическое отрицание вопроса о Боге, а догматическое утверждение, что Бога нет; вера в небытие Божие, по степени мистики, совершенно равная вере в Бога. Догматический атеизм есть обратный теизм – антитеизм, или, как выражается Бакунин, «антитеологизм». «Если есть Бог, то человек – раб». Но мы верим, что человек свободен, – следовательно, мы должны верить, что Бога нет. «Я верую, что Бога нет!» – могли бы воскликнуть Базаров, Луначарский, Горький вместе с героем Достоевского.

Это поняли общие враги нового религиозного сознания и социал-демократии как религии. Вот почему объединяют они оба течения, если не по качеству, то по количеству мистики. «Теперь и безбожники, наши русские социалисты, сочиняют религии», – замечает Галич и очень ядовито, но справедливо называет социал-демократию Луначарского «богословием». А Струве «материализацию Царства Божиего», как у «богостроителей», так и у «богоискателей», считает одинаково «скверным апокалипсическим анекдотом».

«Я видел всесильный и бессмертный народ... и я молился: Ты еси Бог, да не будет миру бози инии разве Тебе, ибо Ты еси един Бог, творяй чудеса. Тако верую и исповедую» («Исповедь» Горького).

Это ли не вера? Это ли не мистика?

Нет, успокаивает Базаров, «тут нет мистицизма», тут дело не в деле, а в словах.

Слово, «термин богостроительство, конечно, неудачен; лучше было бы не давать даже малейшего, даже внешнего повода к недоразумениям». И так, утверждать, что Бог есть, когда Бога нет, называть не сущее сущим – только малейший, только внешний повод к недоразумениям? Не значит ли это: нам до

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
такой степени наплевать на Бога, что мы употребляем его на затычку, за  
неимением более удачного слова – от слова-де не станется?

«Горький, – объясняет Базаров, – писал не трактат, а повесть, и вполне  
понятно, что герой его употребляет для обозначения атеистических ценностей  
то же самое имя, каким он с детства привык обозначать вообще высшие  
ценности». Не значит ли это: употребление имени Божиего – дурная детская  
привычка?

Но ведь вот Луначарский пишет не повесть, а трактат, целое «богословие».  
Почему же и у него та же дурная привычка?

«Человек человеку Бог. Ищешь Бога? Бог есть человечество», – богословствует  
Луначарский.

Если Бог есть ничего, то «человечество есть Бог», – значит: человечество  
есть ничто; а следовательно, и социал-демократия как религия, основанная на  
идее человечества как Бога, есть ничто; и богостроительство – строительство  
из ничего.

Но ведь это самоистребление или, во всяком случае, нечто гораздо худшее,  
чем дурная детская привычка; это сознательно нечистая игра не словами, а  
ценностями, фальшивый вексель, «мошенничество», как выражается черт Ивана  
Карамазова: «если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция  
истины», – зачем санкция имени Божиего?

Пусть такие умные люди, как Луначарский, Базаров, Горький, знают, что от  
слова не станется, и готовы проливать из-за слова «Бог» только чернильные  
реки. Но ведь народ, неискушенный в этой игре, может поверить, что Бог  
действительно есть или что Бога действительно нет. И тогда от слова  
станется; тогда вновь, как это столько раз бывало в истории, потекут уже не  
чернильные, а кровавые реки. И поймут игроки, что игра с Богом в народе,  
особенно в русском народе, игра с огнем в пороховом погребе – безбожная,  
бесчеловечная игра.

Если остановить внимание на внешности, то, пожалуй, действительно надо  
будет признать, что «богословие» Луначарского отзывается литературщиной.  
Беда в том, что теперь «мода на Бога», а Луначарский – модник. В начале XIX  
века был щегольский цвет «мертвой блохи» – *rise morte*; в начале XX века –  
цвет «мертвого Бога»; и кажется иногда, что Луначарскому все равно, какая  
мода.

Но я не хочу останавливаться на литературной внешности и не могу на  
основании одной этой внешности заподозрить Луначарского, а тем более  
Горького, в таком невинном ребячестве или преступном обмане, как  
богостроительство из ничего.

Это не обман, а самообман. И сам Горький с Луначарским это уже почти  
сознают.

«Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода  
наворовал, и смущаешь людей. Коли говорить, что рабочий народ вызван жизнь  
обновлять, – обновляй и не подбирай то, что попами до дыр заношено, да и  
брошено».

На воре шапка горит. В самом деле молитва, тайна, чудо, святость, бес, Бог  
– все эти религиозные слова в кавычках, все это «богословие» бедного Мишки  
– не что иное, как огурцы с христианского огорода. И напрасно Луначарский  
хватается за негорящую шапку: огурцы, мол, выросли на диком поле. «Но  
попами создано понятие Бога». Если не попами, то кем? Человечеством? Но  
тогда почему этот естественно родившийся и выросший в человечестве Бог  
менее реален, чем тот будущий, искусственно выращенный в литературной  
склянке гомункул или механически построенный автомат?

Кем бы, впрочем, ни было создано понятие Бог, главное то, что старого Бога  
нет, а новый «Бог – коллективное человечество» – есть или будет. Для  
Базарова Бога нет, не было и не будет; для Луначарского и Горького – нет,  
не было, но будет. Между этими двумя утверждениями – пропасть; пусть пока  
лишь словесная, зеркальная, но это – зеркало глубоких вод, в которых  
бедному Мишке не найти брода.

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Да и так ли уж уверен Луначарский, что старого Бога нет?

«Миродержатель, Демиург – почти бес... куда деваться? Поднять кулак к небу и укусить его в отчаянии? Ты преступишь подлую заповедь... А дальше? Он пригнет тебя к земле и заставит целовать палку, которой будет сокрушать твои ребра. Ты в бешенстве начнешь громоздить горы на горы, строить башню, столп до его проклятого жилища, а он молнией разобьет твою работу или коварно бросит раздор между людьми. Куда бежать?»

Если богохульства эти не модная дешевка цвета «мертвой блохи» или «мертвого Бога», если в них есть какая-нибудь жизненная правда, то кажущееся отрицание тут подлинное утверждение, превращение старого Бога в нового беса, а может быть, и старого беса в нового Бога. Зеркало не уничтожает, а только искажает, перевертывает лицо.

Бог против Бога, религия против религии. Человекобожество против богочеловечества – вот зеркальная или действительная глубина спора.

Во всяком случае, позитивные твердыни сданы, и напрасно хочет Базаров вернуться в них.

Социал-демократия запуталась в сетях мистики, пусть пока лишь одним коготком: коготок увяз – всей птичке пропасть.

## II

«Человек есть Бог» – один член символа веры; «человечество есть Бог» – другой. Я есмь БОГ для человечества; человечество есть БОГ для меня; крайний мистический индивидуализм (Ницше, Штирнер, Л. Андреев) и крайний мистический социализм (Фейербах, Луначарский, Горький) – между этими двумя крайностями существует антиномия, неразрешимая в той плоскости, на которой движется социал-демократия как религия. [5]

Когда Иван Карамазов говорит о человекобоге, то сначала понимает под ним человекобожество, социалистическое человечество, а затем прибавляет: «Но если даже период этот [6] никогда не наступит, то так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом даже хотя бы одному в целом мире... Для Бога не существует закона. Где станет Бог, там уже место Божие. Где стану я, там сейчас же будет первое место... „все дозволено“ – и шабаш».

Здесь та же антиномия. Ведь, в конце концов, остается нерешенным, нерешенным вопросом: кто Бог – человек или человечество, я или все? кому «все дозволено – мне, вопреки всем, или всем, вопреки мне? я ли уничтожаю всех, или все уничтожают меня?»

Ни то, ни другое, отвечают социал-демократы, все для каждого и каждый для всех. Но ведь это школьная пропись, бабушкина сказка о «предустановленной гармонии».

На всем протяжении всемирной истории происходит борьба личности с обществом, одного со всеми, – и никогда еще эта борьба не была такой убийственной для обеих сторон, как теперь; никогда с такой ясностью не вскрывалось противоречие между идеальной правдой анархизма и реальной правдой социализма. А предустановленная гармония все еще вилами на водах писана. Ни показать, ни доказать ее нельзя, – можно только верить в нее.

Для того чтобы разрешить антиномию абсолютной личности и абсолютной общечеловечности, существуют на самом деле только два средства: или отказаться от всякого абсолюта, т. е. от всякой религии, богостроительства, как это делает Базаров, или пожертвовать одним абсолютом другому, личностью – общечеловечности, как это делают Луначарский и Горький.

## III

Бог есть ничто – вот первый член символа веры; человеческая личность есть ничто – вот второй. Для Базарова нет вовсе «я» и «ты», а есть только «мое» и «твое»: «„мое“ и „твое“, – говорит он, – возникают только тогда, когда речь заходит о дележе продуктов творчества, об их распределении». Человеческая личность для Базарова – лишь экономическая единица. Чувство личности – чувство собственности. «Индивидуализм (т. е. абсолютное

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
утверждение личности) создал великую культуру. Мавр исполнил свой долг, мавр может удалиться». Личность может умереть – собаке собачья смерть.

«Пафос творчества, – продолжает Базаров, – объективен, безличен, по самому существу своему. В коллективном творчестве „я“ не принижается, но просто отсутствует». Легко сказать: просто отсутствует! Ведь это значит: торжество социализма – торжество безличности; ведь это то самое, что говорят злейшие враги социализма.

И всего поразительнее невозмутимое спокойствие, с которым говорится все это. Угасает солнце нашей планетной системы и глазом не моргнет. Никакой трагедии, никакой бури около погибающей личности – тихий конец мира, тихий провал, – та вторая смерть, от которой нет воскресения.

Итак, две необходимые предпосылки для торжества социализма – уничтожение Бога и уничтожение личности. Надо разрушить в человечестве идею не только о Боге, но и о личности. Одно вытекает из другого, потому что утверждение Бога в человечестве есть утверждение богочеловечества, абсолютной Божественной личности – богочеловека. Социалистическая Вавилонская башня строится на костях убитого Бога и убитого человека. Богоубийство – человекоубийство.

«Человек есть особь вида», – определяет Луначарский. В таком определении человеческая личность, так же как у Базарова, «не принижается, но просто отсутствует». Для того чтобы отождествить человека единственного, человека-личность с безличным всечеловеком, «особью вида», надо уничтожить личность: ведь муравей есть тоже особь вида; для муравья личность ничто, муравейник – все; для человека – человечество, для муравья муравейник – Бог.

Левбук в своих наблюдениях над муравьями, чтобы отличить одного от другого, отмечал их разноцветными крапинками. Для Базарова и Луначарского личности Сократа, Гете, Канта, Франциска Ассизского – такие разноцветные крапинки на безличных особях вида.

«Здесь, скажут нам, есть великая опасность, – предупреждает Луначарский, – опасность подчинения личности вашему Левиафану, вашему новому богу-коллективу». Знает кошка, чье мясо съела. Но делает вид, что не знает. «Что значит подчинение личности?» – удивляется Луначарский. И выходит, разумеется, что подчинение личности ничего не значит, потому что сама личность ничего не значит.

И уж, конечно, на вопрос о смерти как об уничтожении личности единственный ответ – «бессмертие рода», т. е. абсолютное человекоубийство, окончательное поглощение самой идеи личности как чего-то условного в идее безличного рода как абсолюта. Но это не ответ, а глухота к вопросу. Да и что уж тут спрашивать о смерти, когда и в жизни личность «просто отсутствует».

Религиозное принятие смерти как уничтожения личности есть религиозное принятие безличности. «Всякий узнает, – говорит черт Ивана Карамазова, – что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог». Как Бог или зверь? Ведь и зверь не знает, что такое смерть. Можно принять или отвергнуть это бого-звериное бессмертие, но спорить о нем нельзя, как о всяком откровении. Недаром говорит Базаров о «пафосе» – пафос значит религиозный восторг: пафос безличности для Базарова, Луначарского, Горького и есть религиозный восторг социал-демократии.

О, конечно, бессознательно! Потому-то с этим так трудно бороться, что это пока еще слишком бессознательно.

#### IV

Доныне революционное освобождение человечества начиналось с утверждения человеческой личности. Но «мавр исполнил свой долг, мавр может удалиться». Социал-демократия как религия хочет начать освобождение с отрицания личности. Тут опасность предельного мистического рабства. Самодержавие «нового бога» – коллектива – злейшее из всех самодержавий.

Обожествленный Коллектив становится некоторым Великим Существом, Grand Etre (по О. Контю), некоторой сверхчеловеческой личностью, а все отдельные человеческие «я» – безличными клеточками этого тела.

Какое же это тело, какое лицо? Что, если не Божеское и не человеческое, а звериное? Что, если центральная монада этого нового тела – не кто иной, как древний Цезарь Божественный или новый великий Азеф, великий Хам?

«Расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства моего и в славу моего величия?..»

«Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: тебе говорят, царь Навуходоносор, – царство твое отошло от тебя.

И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями».

«Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное».

Это сказано о социализме – «богостроитель», строитель Вавилонской башни.

Но о нем же сказано: «Царство твое останется при тебе, когда познаешь власть небесную».

Не отнимется у социализма сердце человеческое и не дастся ему сердце звериное только в том случае, если познает он власть небесную, познает, что «Всевышний владевает над царством человеческим».

Истинное богостроительство есть богочеловечество. Камень, который отвергли строители, делается главою угла. Этот камень – Богочеловек Христос. И строится на нем не Вавилонская башня, а вселенская Церковь – Царство Божие на земле, в котором исполнится и религиозная правда социализма.

V

Социал-демократия – железный молот; новое религиозное сознание – хрупкое стекло; стоило, казалось, молоту прикоснуться к стеклу, чтобы разбить его вдребезги.

Но вот опустился он всей тяжестью, ударил, а стекло не разбилось.

Откровение личности – не стекло, а сталь нового религиозного сознания. Спор идет о Боге в человеческой личности – о Богочеловеке, о Христе.

Посчитайтесь же со Христом, антихристиане; посчитайтесь же с Богочеловеком, человекобоги.

Кто не за Меня, тот против Меня. – Будьте же за или против. Не махайте молотом в пустоте, бейте прямо в цель.

А мы вам скажем спасибо за то, что вы куете наш меч.

Так тяжкий млат,  
Дробя стекло, кует булат.  
АРАКЧЕЕВ И ФОТИЙ

I

Что такое Аракчеев?

«Просто фрунтовый солдат», – сказал о нем Пушкин.

Но это не так просто. Весь петербургский период русской истории создал Аракчеева, получил в нем то, чего хотел.

Без лести предан – в этом гербе целая религия.

«Что мне до отечества! Скажите, не в опасности ли государь?» – воскликнул он в двенадцатом году перед вступлением Наполеона в Россию.

Провались отечество, да здравствует царь; не быть всем, быть одному – такова религия.

Дух небытия, дух человекоубийственной казенщины воплотился в Аракчеве до

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
такой степени, что почти не видно на нем лица человеческого, как на  
гоголевском Вие: «лицо было на нем железное».

Железное лицо Аракчеева – лицо единовластия. Нет Аракчеева, есть  
аракчеевщина – бессмертное начало. Всего ужаснее в нем это нечеловеческое,  
нездешнее, «виево».

Когда он умирал, Николай I прислал к нему в Грузино своего лейб-медика  
Вилие, который предписал больному, кроме лекарств, полное спокойствие; но  
однажды утром застал его с железным аршином в руке, которым умирающий  
наказывал провинившегося мальчика-садовника, «производя ему равномерные  
удары по носу».

Равномерные, «единообразные». «Я люблю единообразие во всем», – говорил  
Александр I. Александр говорил, Аракчеев делал.

Может быть, мальчик с окровавленным носом не чувствовал боли, окаменев от  
ужаса перед железным лицом этого железного автомата, «великого мертвеца»  
гоголевской «Страшной мести»: «Хочет подняться выросший в земле великий,  
великий мертвец».

И донныне весь русский народ – не этот ли бедный мальчик, которого  
бессмертный Аракчеев бьет железным аршином по носу?

В государстве – Аракчеев; в церкви – Фотий. Казенщина государственная и  
казенщина церковная. За обеими – единый дух небытия, единая религия: всякая  
власть от Бога. У Аракчеева – власть, у Фотия – Бог; у Аракчеева – земля, у  
Фотия – небо; у Аракчеева – плоть, у Фотия – дух.

Ему орудием духовным –  
Проклятье, меч, и крест, и кнут.  
Соединение Аракчеева с Фотием – соединение кнута с крестом. И это  
соединение совершается в лице благословенного.

Однажды Фотию было видение: «видел он себя в царских палатах, стоящего  
перед царем; Фотий, объяв царя за выю, во ухо поведал ему, како, где,  
от кого и колико церковь православная обидима есть; царь же дал манием  
Фотию ведать, что постарается исправить все».

В том же видении является Аракчеев: по одну сторону царя – Фотий, по другую  
– Аракчеев.

В посмертных бумагах Фотия находится записка об Аракчееве: «Всяческая  
познавая, познал, что гр. Аракчеев всем сердцем Бога любит, царю предан,  
верен, правдив, православную церковь истинно любит. Он есть правое око  
царя, столп отечества, и таковые люди веками рождаются. В нем кроме добра я  
ничего не видел. Ему можно все поверить, и с Божию помощью все может  
делать. За что спаси его Боже на многие лета для церкви и отечества!»

В 1829 году Пушкин писал к торвальдсеновскому бюсту Александра I:

Недаром лик сей двуязычен,  
Таков и был сей властелин:  
К противочувствиям привычен,  
В лице и в жизни арлекин.  
Это жестоко и несправедливо, это – оскорбление не царского величества, а  
страдания человеческого. Пусть арлекин, но ведь раненный насмерть,  
истекающий кровью. Двуязычность, двусмысленность, искажающая этот лик, –  
предсмертная судорога. И он скрывает ее, трагикомический Янус, двумя  
лицами, двумя масками: одна, обращенная к земле – Аракчеев, другая – к небу  
– Фотий.

II

«Полуфанатик, полуплут», – сказал Пушкин о Фотии. И это несправедливо:  
фанатик, но не плут.

Не из плутовства же постился так, что желудок «в ореховую скорлупу  
сжимался»; удручал себя веригами из медных крестов: «вся грудь моя – единая  
рана; правый сосец внутрь от огня изгнил; стою еще на ногах иногда, но  
слаб, как тень». Изнурил себя до того, что дрожал в постоянном ознобе и

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
среди лета носил шубу.

Не из плутовства «был в бедах, болезнях, ранах, биениях, потоплениях многократно».

Сын мужика, сельского причетника, сам до конца дней мужик в рясе, вступает в бой против масонов и мистиков «с Илииною ревностью», точь-в-точь как рыцарь печального образа – против призрачных гигантов и ветряных мельниц.

Никому неведомый корпусный законоучитель «в церкви, в классах, на дорогах, в келье и где случай был ему небоязненно глас свой, яко трубу, возвышал, посреди великого града С.-Петербурга, дабы огласить тайны беззакония, вразумить царя, властей и всех к покаянию».

От государя и министра духовных дел, «глаголемого патриарха», князя Голицына, до последнего синодального чиновника – все ему врага. Но «дух ревности разжег его, и он, яко штурмом, хотел взять крепость вражью».

Покупал еретические книги, только что вышедшие из типографии, и публично при всех учениках в корпусе «предавал раздиранию и огню, произнося: анафема!»

В домах, где бывали тайные собрания масонов и мистиков, подкупленные слуги проламывали стены под потолком и просверливали дырочки, сквозь которые фотий, будучи невидим, сам видел и слушал все, что делалось внизу.

Впоследствии, уже войдя в силу, вместе с обер-полицеймейстером Гладковым, учредил духовно-полицейский сыск. Один сыщик, выманив корректурные листы еретической книги пастора Госнера из типографии, представил их обер-полицеймейстеру, тот – Магницкому, Магницкий – Аракчееву, Аракчеев – государю. Вот маленькое начало Великой Инквизиции.

Но это впоследствии, а в первое время, за недостатком помощи полицейской, приходилось надеяться на помощь Божию, чудо Божие – или сатанинское.

«Сатана подсылал к нему духа злого, который внушал тайно, что он – Илия пророк новый, а посему некое бы чудо сотворил или хотя перешел по воде, яко по суху, противу самого дворца через реку Неву».

Митрополит вызвал его «на испытание, в уме ли он». Кажется, в самом деле, начиналось у Фотия сумасшествие. Вообразил, что масоны хотят его извести. Однажды в глухую полночь прибежал из корпуса к о. Иннокентию, ректору семинарии, босиком, в одной рубашке, выскочив в окно, при помощи кадетов.

По всей вероятности, окончательно сошел бы с ума и пропал бы где-нибудь в Соловках или Суздале, если бы не «ангел во плоти, дочь-девица Анна».

Дочь графа Алексея Орлова-Чесменского, или, вернее, Ропшинского, того самого, из чьих молодецких рук, после внезапной смерти Петра III, Екатерина II получила престол, – благочестивая графиня Анна всю жизнь замаливала грех отца.

Благочестивая жена  
Душою Богу предана,  
А грешной плотью  
Архимандриту Фотью.  
Это клевета.

«Я, в мире пребывая, ни единожды не коснулся плоти женской, не познал сласти. Чадо мое, о Господе, есть девица непорочная во всецелости. Я грешник, но раб Бога моего верный: то ужели бы на дело Божие избрал сосуд растленный и нечистый?»

Этому, кажется, следует верить.

Некрасива и уже немолода – «лет 35 от чрева матери» – была эта Дульсинея, когда встретила Дон-Кихота.

Может быть, с ее стороны было невинное обожание.

«– Ах, отец! отец! как он мил!» – восклицала она, млея, когда князь Голицын

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
читал ей письма Фотия.

С его стороны – бурсацкая, слегка циничная, но отнюдь не любовная нежность. «Что тебе сделалось, чадо мое? Какая есть немощь твоя? Не застудилась ли? Можно поясницу и где неловко потереть спиртом или оподельдоком. Помни, в зеленых банках худой, а самый лучший в белых».

Как бы то ни было, встреча с Анною решила судьбу Фотия. Она сложила к ногам его свою женскую честь, свой вельможный сан и свои несметные богатства. «Бедный сирота», который родился в свином хлеву на соломе и выпрашивал у тетушки конец пирога или гривенник на сбитень, оказался обладателем сорока пяти миллионов. Но дороже миллионов были связи с Голицыным, Аракчеевым и, наконец, самим государем.

Чудо совершилось: Фотий пошел через Неву по воде, яко по суху.

III

«Революция готовится вскоре.

Пароль на все наложен – пароль всегубительства – раскопать алтари и разрушить престолы.

Вскоре, как пожар, в России возгорится революция; теперь уже дрова наложены, и огонь подкладывается».

И не в одной России, но и во всем мире, «под видом тысячелетнего Христова царства, теократического правления, готовится революция в 1836 году: число звериное в Апокалипсисе – 666:  $6 + 6 + 6 = 18$ ;  $6 \times 6 = 36$ : 1836»

«Главная причина всего» – Библейское общество, масоны, мистики, министерство дел духовных, князь Голицын и «прочая сволочь зловередная».

Также Греч, издатель «Северной пчелы», и Тимковский, цензор: в обоих – «дух революционный».

«Тайна беззакония деется. Господь при дверях. Блажен, кто возьмет меры осторожности. Время еще не ушло.

Как пособить, дабы остановить революцию?

Министерство духовных дел уничтожить. Синоду быть по-прежнему.

В великой борьбе сей должен будет действовать за Бога государь православный, и на главе его помазанника лежат великие судьбы церкви и всего человечества.

Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию: да победит он и духовного Наполеона лицом твоим, коего можешь ты, Господу содействующу, победить в три минуты чертою пера».

Таковы «откровения свыше», которые сообщал Фотий Александру I.

Похоже на бред. Но есть в этом бреде нечто до ужаса реальное, воплощенное во всю историческую русскую действительность: вера в Божественное всемогущество того, кто «в три минуты чертою пера» может спасти или погубить церковь.

«Исповедую же с клятвою крайнего судию духовной сей коллегии быти самого всероссийского монарха», – сказано в присяге членов синода, по духовному регламенту Петра I, и подтверждено указом Павла I: «Самодержавец российский есть глава церкви».

Всего ужаснее то, что Фотий себя не обманывает, знает, откуда идет «революция»; «никто не смел противиться, помышляя, что все действует не без воли Высочайшей. Император сам поврежден в познаниях истин веры. Сам себе, по неведению, изрывает ров погибели». Знает Фотий и то, что князь Голицын, «главная причина всего, – тридцатилетний друг царев, соучастник в тайных делах, о них же лет есть и глаголати (т. е. в делах любовных). Князь любимец от начала был у Александра, угождая плоти, миру и дьяволу».

Кому же именно дарована будет победа «в три минуты чертою пера» – Богу или дьяволу?

Но тут-то и возникает Аракчеев: «он все может исполнить, он верен. Он православную церковь истинно любит».

А так как «сему одному все тайны сердца царева откровенны» и «все дела о церкви ему же вверяемы», то в последнем счете судьбы церкви зависят единственно от Аракчеева: глава Церкви – не Христос, ни даже русский царь, а русский хам Аракчеев.

#### IV

В 1824 году 22 апреля, вечером, в девятом часу, в Лавру принесена тайная весть, что, по Высочайшему повелению, к митрополиту Серафиму будет Аракчеев.

«Царь Александр не хотел явно все произвестись в дело, а тайно думал и тихо учинить; Аракчеев старался от имени царя как-нибудь согласить во всем митрополита с князем Голицыным».

Александр, по своему обыкновению, прятал железные когти в бархатную перчатку.

Но тут произошло нечто внезапное, едва ли, впрочем, неожиданное для заговорщиков: фитиль поджег мину.

«– В деле святой церкви и веры нет середины! – воскликнул митрополит. – Когда делать царь хочет, то пусть делает, как должно; в противном случае он будет пред Богом виноват. Боже мой! страх одолевает меня. Что делается у нас? И все – как спят и пробудиться не могут. Из святейшего синода сделали нечистый един, просто сказать, заход (т. е. отхожее место). Церковь явно поругается. До чего мы дожили!»

«И тотчас, взяв белый клубок свой митрополичий, снял с головы своей, бросил на стол и сказал:

– Граф, донеси царю, что видишь и слышишь. Вот ему клубок мой! Я более митрополитом быть не хочу, – с князем Голицыным не могу служить, как явным врагом церкви и государства!»

«Аракчеев смотрел на сие, как на вещь редкую», – замечает Фотий.

Действительно, за весь «петербургский период русской истории» вещь редкая – этот Белый Клубок, духовный венец церкви, спорящий с железным венцом власти; это чудесное превращение Серафима в Никона, мокрой курицы в орла. Кости московских и византийских патриархов не повернулись ли в гробах своих?

«– Стой, владыко святой, стой до конца! – подливал масла в огонь Фотий. – Что сказано царю, то и верно: все рушат, все раздирают, и нет ниоткуда помощи; весь синод в плену у слуги дьявольского. Теперь едино остается делать, ежели царь не исправит дело веры и не защитит благочестие, – взять Святое Евангелие в одну руку, а в другую – Святой Крест, идти в Казанский собор и, посреди народа, возгласить: православные! веру Христову попирают, а новую какую-то, бесовскую, хотят ввести! Послушай, граф, донеси царю, что сие быть может сделано. Вся Россия узнает. Жены и дети найдутся многие, которые за Преподобную Приснодеву Богородицу вступятся.

Она, владычица наша, вскоре приидет на помощь. Падет враг, и путь нечестивых погибнет!»

Здесь, как и везде, доведенная до конца реакция становится обратной революцией, черное железо накаляется докрасна. Эта маленькая революция, буря в стакане воды – не прообраз ли той настоящей бури, великой революции черных сотен, которой если не мы, то дети наши будут свидетелями?

Но Аракчеев слушает молча с полулишьей, полуволчьей усмешкой эти громы не из тучи. Он может быть спокоен: ни Серафим, ни Фотий не пойдут к народу; стоит их ударить железным аршином по носу, чтобы тотчас же вновь превратились орлы в мокрых куриц.

V

25 апреля Голицын приехал к Фотию в дом графини Орловой, в час пополудни. Фотий ждал во всеоружии.

Стоит у икон; горит свеча; св. Тайны Христовы предстоят; крест лежит на аналое; Библия раскрыта. «Входит князь и образом, яко зверь рысь, является. Протягивает руку для благословения. Но Фотий, не давая благословения, говорит:

– В книге Таинство Креста под твоим надзором напечатано: „духовенство – зверь“ (т. е. антихрист), а я, Фотий, – из числа духовенства, то благословить тебя не хочу, да тебе и не нужно.

– Неужели за сие одно? – удивился будто бы Голицын.

Тогда Фотий пришел в ярость, схватил крест, поднял его над головою и закричал:

– Анафема! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его! Будь ты проклят! Сидишь во ад, и все с тобою погибнут вовеки! Анафема всем!

Голицын побежал вон из горницы, „во гневе, яко лишен ума“, – утверждает Фотий, но на самом деле скорее, в страхе.

Голицын бежал, а Фотий кричал ему вслед:

– Анафема! Анафема!

Перепуганная дочь-девица бросилась к Фотию.

– Отец! Отец! Что ты наделал! Пожалуется князь государю – засудят тебя, заточат, сошлют в Сибирь...

Девица плакала, а Фотий, „скача и радуясь“, пел:

– С нами Бог!»

Бог и Аракчеев. Несдобровать бы Фотию, если бы не Аракчеев: анафема Голицыну, министру духовных дел, тридцатилетнему другу царевича, была анафемой самому царю, разумеется, условная – если-де царь не покается.

Во всяком случае, теперь уже не могло быть примирения: надо было выбрать одно из двух – пожертвовать Фотием, т. е. Аракчеевым, Голицыну или Голицыным Фотию, т. е. Аракчееву.

15 мая 1824 года издан указ об уничтожении министерства духовных дел и об «оставлении синода по-прежнему». Аракчеев победил, Голицын пал.

«Вся столица славы великой исполнилась, – рассказывает Фотий. – Как свет солнца утреннего, разлился светлый слух о исчезании мирского владычества над церковью. Паде ад, дьявол побежден. Слава веры, победа церкви. – Митрополит пел, и Фотий пел». Кажется, вот-вот запоем Аракчеев.

Но в чем же, собственно, победа церкви? А вот в чем: отныне все доклады синоду представлялись государю через графа Аракчеева. Как некогда Голицына, так ныне Аракчеева можно было назвать патриархом. Самодержавие и православие – царство от мира и не от мира сего, соединились в Аракчееве. Железный аршин сделался жезлом, о котором сказано в Апокалипсисе: «Будет пасти народы жезлом железным».

«Порадуйся, старче преподобный, – писал Фотий другому своему архимандриту Герасиму, – нечестие пресеклось, общества все богопротивные, яко же ад, сокрушились. Министр наш один Господь Иисус Христос. Молися об Аракчееве: он явился раб Божий за святую церковь и веру, яко Георгий Победоносец».

Такова победа церкви, по мнению Фотия: Христос – «министр духовных дел»; победа Христа – победа Аракчеева.

VI

Это кажется сказкою, но это быль, и даже не быль, а современная русская действительность. Один большой Аракчеев, один большой Фотий раздробились на множество маленьких. Нужно ли называть имена?

Дух государственной казенщины, дух Аракчеева в церкви подобен явлению Вия:

«— Приведите Вия, ступайте за Виём».

«И вдруг настала тишина; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви».

Не слышится ли нам и ныне это волчье завыванье? Не раздаются ли тяжелые шаги?

«Ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь он был черней земли. Тяжело ступал, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены до самой земли. Лицо на нем железное».

Железное лицо Вия – лицо государственной казенщины в церкви.

«— Поднимите мне веки: не вижу».

Поднятие виевых век церковным сонмищем Фотиев есть учение о том, что свободный дух религии – дух революции. На него-то и кидается несметная сила чудовищ, как на бедного философа Хому Брута: «бездыханный, грянулся он о землю, и тут же вылетел из него дух от страха».

Когда наступило утро, «вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божией святыни и не посмел служить. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, – и никто не найдет теперь к ней дороги».

Эти чудовища родились от союза двух нечистых сил – государственной казенщины с церковною, Аракчеева с Фотием.

СВИНЬЯ МАТУШКА

I

Один современный русский писатель сравнивает два памятника – Петра I и Александра III.[7]

«К статуе Фальконета, этому величию, этой красоте поскакавшей вперед России... как идет придвинуть эту статую, России через двести лет после Петра, растерявшей столько надежд!.. Как все изящно началось и неуклюже кончилось!..»

– Это тогда! – мог бы сказать обыватель, взглянув на монумент на Сенатской площади.

«— Это теперь!» – подумал бы он, взглянув на новый памятник.

«Водружена матушка Русь с царем ее. Ну, какой конь Россия, – свинья, а не конь... Не затанцует. Да, такая не затанцует, и, как мундштук ни давит в небо, матушка Русь решительно не умеет танцевать ни по чьей указке и ни под какую музыку... Тут и Петру Великому „скончание“, и памятник Фальконета – только обманувшая надежда и феерия».

«Зад, главное, какой зад у коня! Вы замечали художественный вкус у русских, у самых что ни на есть аристократических русских людей приделывать для чего-то кучерам чудовищные зады, кладя под кафтан целую подушку? – Что за идеи, объясните! Но, должно быть, какая-то историческая тенденция, „мировой“ вкус, что ли?..»

Мировой вкус к «заду» – это и есть «родное мое, наше, всероссийское». «Крупом, задом живет человек, а не головой... Вообще говоря, мы разуму не доверяем»...

«Ну и что же, все мы тут, все не ангелы. И до чего нам родная, милая вся эта Русь!.. Монумент Трубецкого, единственный в мире, есть именно наш

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
русский монумент. Нам ни другой Руси не надо, ни другой истории».

Самообличение – самооплевание русским людям вообще свойственно. Но и среди них это небывалое; до этого еще никто никогда не доходил. Тут переступлена какая-то черта, достигнут какой-то предел.

Россия – «матушка», и Россия – «свинья». Свинья – матушка. Песнь торжествующей любви – песнь торжествующей свиньи.

Полно, уж не насмешка ли? Да нет, он, в самом деле, плачет и смеется вместе: «смеюсь каким-то живым смехом „от пупика“, – и весь дрожит, так что видишь, кажется, трясущийся кадык Федора Павловича Карамазова.

Ах, вы, деточки, поросяточки! Все вы, – деточки одной Свиньи Матушки. Нам другой Руси не надо. Да здравствует Свинья Матушка!

Как мы дошли до этого?

II

Дневник А. В. Никитенко[8] (1804–1877) – едва ли не лучший ответ на вопрос: как мы до этого дошли?

Это – исповедь, обнимающая три царствования, три поколения – от наших прадедов до наших отцов. Год за годом, день за днем, ступень за ступенью – та страшная лестница, по которой мы спускались и, наконец, спустились до Свиньи Матушки.

Рабья книга о рабьей жизни. Писавший – раб вдвойне, по рождению и по призванию: крепостной и цензор; откупившийся на волю крепостной и либеральный цензор. Русская воля, русский либерализм.

Рабы, влачащие оковы,  
Высоких песен не поют.

Вся жизнь его – песнь раба о свободе. „Боже, спаси нас от революции!“ – вот вечный припев этой песни. „Безумные слепцы! Разве они не знают, какая революция возможна в России? Надо не иметь ни малейшего понятия о России, чтобы добиваться радикальных переворотов. Я вышел из народа. Я плебей с головы до ног, но не допускаю мысли, что хорошо дать народу власть. Либерализм надо просеивать сквозь сито консерватизма. Один прогресс сломя голову, другой постепенно; я поборник последнего. Мудрость есть терпение. Вот я люблю стебелком растения в горшке, стоящем на моем окне, которое, несмотря на недостаток земли и на холод, проникающий сквозь стекло, все-таки живет и зеленеет“.

Бедное растение, бедная рабья свобода!

Только изредка, когда впивается железо до костей, уже не поет он, а стонет. „Искалеченный, измученный, – лучше сразу откажись от всяких прав на жизнь и деятельность – во имя... Да во имя чего же, Господи?“

В 1841 году предложил он графу Шереметеву выкуп за мать и брата, еще крепостных. „Вот я уже полноправный член общества, пользуясь некоторой известностью и влиянием, и не могу добиться – чего же? Независимости моей матери и брата. Полоумный вельможа имеет право мне отказать: это называется правом! Вся кровь кипит во мне; я понимаю, как люди доходят до крайностей“.

Сам он до них не дошел. „Я всегда был врагом всяких крайностей“. Несмотря на все испытания, все искушения, – а их, видит Бог, было много, – остается он до конца дней своих либеральным постепенцем.

„Стоять посреди крайности, соблюдать закон равновесия – ничего слишком – вот мой девиз. Терпение, терпение и терпение. Мудрость есть терпение. Нет такого зла, которого люди не могли бы снести: все дело только в том, чтобы привыкнуть к нему. Да будет все так, как иначе быть не может“.

Да будет все так, как есть.

Но если далеко писавшему до революции, то, по действию на душу читателя, это одна из революционнейших русских книг.

Мы видим здесь воочию, как европейское лицо либеральной постепенщины превращается в истинно русский реакционный „зад“; как утверждение либеральной середины переходит в самую чудовищную крайность: да здравствует Свинья Матушка!

### III

„– Не правду ли говорил, что в Европе будет смятение?“ – сказал Николай I в 1848 году представлявшим ему русским католическим епископам.

„– Только что я услышал об этих беспорядках, – ответил один из них, – как вспомнил высокие слова вашего величества и изумился их пророческому значению“.

„– Но будет еще хуже, – продолжал государь. – Все это от безверия, и потому я желаю, чтобы вы, господа, как пастыри, старались всеми силами об утверждении в сердцах веры. Что же меня касается, – прибавил он, сделав широкое движение рукой, – то я не позволю безверию распространяться в России, ибо оно и сюда проникает“.

Еще откровеннее выразил эту главную мысль николаевского царствования министр народного просвещения Уваров:

„– Мы живем среди бурь и волнений политических. Народы обновляются, идут вперед. Но Россия еще юна... Надобно продлить ее юность... Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет, то я исполню свой долг“.

Никитенко знает, откуда пошла эта „русская вера“: „О, рабыня Византия! Ты сообщила нам религию“...

Борьба России с Европой, всемирно-исторического „зада“ со всемирно-историческим лицом, есть возрождение Византии в ее главной религиозной сущности.

„Теперь в моде патриотизм, – продолжает Никитенко, – отвергающий все европейское и уверяющий, что Россия проживет одним православием без науки и искусства... Они точно не знают, какую вонюю пропахла Византия, хотя в ней наука и искусство были в совершенном упадке... Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели выползти из своих темных нор... Теперь же все гады выползли“.

Кто главный враг дела Петрова, он тоже знает.

В том самом 1848 году, когда объявлена священная война Европе, Никитенко записывает: „Думают навсегда уничтожить дело Петра. Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему. Еще немного – и все, в течение ста пятидесяти лет содеянное Петром и Екатериною, будет вконец низвергнуто, затоптано. Чудная земля Россия! Полтора ста лет прикидывались мы стремящимися к образованию. Оказывается, что все это было притворство и фальшь: мы улепетывали назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная земля!“

Вот когда начался „мировой вкус к заду“, превращение Коня в Свинью.

Почти ни одной черты не надо менять, чтобы картина тогдашней реакции сделалась картиной наших дней.

Неземная скука „вечных возвратов“, повторяющихся снов: „все это уж было когда-то“, – вот что в русских реакциях всего отвратительнее.

Никитенко – не Тацит; но иные страницы его напоминают римского летописца, может быть, оттого, что нет во всемирной истории двух самовластий более схожих по впечатлению сумасшествия, которое производит низость великого народа. Ибо что такое самовластие, возведенное в степень религии, как не самое сумасшедшее из всех сумасшествий?

### IV

Митрополит Филарет пожаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в Онегине:

И стая галок на крестах.

Митрополит нашел в этом оскорбление святых. Цензор на запрос ответил, что „галки, сколько ему известно, действительно садятся на кресты московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицеймейстер“. Бенкендорф написал митрополиту, что дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа.

Если это легенда, то до чего нужно дойти, чтобы поверить ей.

„В средние века жгли за идеи и мнения, но, по крайней мере, каждый знал, что можно и чего нельзя, – заключает летописец. – У нас же бессмыслица, какой мир не видал!“

Потерпев поражение в войне с московскими галками, митрополит нашел поддержку в министре народного просвещения, Уварове, который приказал, чтобы профессора философии во всех русских университетах руководились в своем преподавании статьей, напечатанной в „Журнале М. Н. П.“, где доказывалось, что „все философии вздор и что всему надо учиться в Евангелии“.

Никитенко вспоминает по этому поводу проект Магницкого об уничтожении в России преподавания философии, так как оно „невозможно без пагубы религии и престола“.

Другой министр народного просвещения, князь Ширинский-Шахматов, утверждал, что „польза философии не доказана, а вред от нее возможен“.

Понятно, что, с этой точки зрения, все философские системы в России не более, как те галки, которые садятся на крестах и пакостят.

Да и где уж тут философия, когда один цензор в учебнике арифметики запрещает ряд точек, поставленный между цифрами, подозревая в них вредный умысел; а другой – не пропускает в географической статье места, где говорится, что в Сибири ездят на собаках, требуя, чтобы сведение это получило подтверждение от министерства внутренних дел. Бесконечная переписка ведется о том, как ставить числа месяцев – нового стиля над старым, или старого над новым.

Одного ученого на университетском диспуте „о зародыше брюхоногих слизняков“ за употребление иностранных слов объявили „не любящим своего отечества и презирающим свой язык“.

Цензор пушкинского „Современника“ до того напуган гауптвахтою, что „сомневается, можно ли пропускать известия вроде того, что такой-то король скончался“.

В сочинении по археологии нельзя говорить о римских императорах, что они убиты, – велено писать: „погибли“; а греческое слово демос – народ – заменять русским словом граждане.

И опять вспоминается Магницкий, который доказывал некогда, что книга профессора Куницына, „Естественное право“, напечатанная в Петербурге, произвела революцию в Неаполе.

О книге „Проделки на Кавказе“ военный министр заметил Дубельту: „Книга эта уже тем вредна, что в ней что ни строчка, то правда“.

Тот же Дубельт вызвал Булгарина за неодобрительный отзыв о петербургской погоде:

„– О чем ты там нахрюкал? Климат царской резиденции бранить? Смотри!“

Когда за философские письма Чаадаева запрещен был „Телескоп“, издателей петербургских журналов вызвали в цензурный комитет: „все они вошли, согнувшись, со страхом на лицах, как школьники“.

Цензоров тошнит от цензуры: „Цензура теперь хуже квартальных надзирателей. Из цензуры сделали съезжую и обращаются с мыслями, как с ворами и пьяницами. Тьфу! Что же мы, наконец, будем делать в России? Пить и буйнить?“

На похоронах Пушкина обманули народ: сказали, что отпевать будут в Исаакиевском соборе, и ночью, тайком, перенесли тело в Конюшенную церковь. Бенкендорф убедил государя, что готовится манифестация; по улицам стояли военные пикеты, и в толпе шныряло множество сыщиков. Точно так же тайком увезли тело в деревню.

Жена Никитенко на одной станции, неподалеку от Петербурга, увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожей. Три жандарма на почтовом дворе хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

– Что это такое? – спросила она у одного из находившихся здесь крестьян.

– А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит, и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи, – как собаку...

„Чтобы все, найденное мною неприличным, было исключено“, – постановил Николай I о посмертном издании Пушкина.

Так похоронили того, кто сравнивал Николая I с Петром Великим и завещал, умирая: „Скажите государю, что мне жаль умереть, – был бы весь его“.

Когда умер Гоголь, Погодина отдала под надзор полиции за то, что он выпустил свой журнал с черной каймой, а председатель цензурного комитета объявил, что не будет пропускать похвальных статей Гоголю – „лакейскому писателю“.

„Уваров хочет, чтобы русская литература прекратилась: тогда, говорит, я буду спать спокойно“.

„Да и к чему в России литература?.. Родная поэзия кнута и штыка...“

Наконец, самого Никитенко посадили на гауптвахту за то, что он пропустил в „Сыне Отечества“ несколько шуточных слов о фельдъегере, „побрякивающим шпорами и крутящем усы, намазанные фиксатуром“.

Клейнмихель принял шутку на свой счет. Что такое в самом деле Клейнмихель, как не исполинский фельдъегерь? „Клейнмихель охмелел от царских милостей“, – замечает Никитенко и далее рассказывает о бешеном волке, который, появившись однажды на петербургских улицах, перекусал множество людей.

„Сила его, – продолжает он о Клейнмихеле, – будет расти при дворе, по мере усиления к нему ненависти и презрения в обществе“.

Большой Клейнмихель повторяется в бесчисленных маленьких, как солнце в каплях росы.

„Недавно два офицера, так, ради смеха, встретив на улице одного чиновника, совершили над ним грубое неприличие. Тот спросил у них: что они – сумасшедшие или пьяные? Они привели его на Съезжую, и оскорбленный должен был заплатить полицейскому пятнадцать рублей, чтобы тот отпустил его“.

Гвардейские офицеры собирались пить. Двое поссорились, остальные решили, что чем выходить на дуэль, лучше разделаться кулаками. Действительно, надавали друг другу пощечин и помирились.

Офицер в маскарade Дворянского собрания в пьяном виде разрубил саблей череп молодому человеку, ничем его не оскорбившему.

Вот первые цветочки того хулиганства, чьи ягодки созрели в наши дни.

В корпусе мальчики освистали учителя-офицера. Сначала их секли так, что доктор, при этом присутствовавший, перестал отвечать за жизнь некоторых; потом лишили дворянства, разжаловали в солдаты и по этапу отправили на Кавказ. „Русское дворянство растит своих сыновей для розог, а дочерей для придворного разврата! – Ужас, ужас и ужас!“

„Но если иногда и загорается ужас, то гаснет тотчас же в той серенькой слякоти, которая определяется двумя словами: карты и скука. Во всех салонах царствуют карты и скука“.

Это слишком знакомое нам состояние тихого террора, благополучного ужаса – не только в обществе, но и в народе.

„Гулял под качелями. Густые массы народа двигались почти бесшумно, с тупым равнодушием поглядывая на паяцев и вяло улыбаясь на их грубые выходки“.

Однажды на Масленице 1836 года загорелся балаган Лемана. Когда начался пожар и раздались первые вопли, народ, толпившийся на площади, бросился к балагану, чтобы разбирать его и освободить людей. Явилась полиция, разогнала народ и запретила что бы то ни было предпринимать до прибытия пожарных. Народ отхлынул и сделался спокойным зрителем страшного зрелища. Пожарная команда поспела как раз вовремя, чтобы вытаскивать крючками из огня обгорелые трупы. Зато „Северная пчела“ объявила, что люди горели в удивительном порядке. „Государь сердился, но это никого не вернуло к жизни“.

Все нарастает и нарастает этот тихий ужас, предчувствие неминуемой гибели.

„В обществе нет точки опоры; все бродят, как шальные и пьяные. Одни воры и мошенники бодры и трезвы. Общество быстро погружается в варварство. Спасай кто может свою душу! Страшный гнет, безмолвное раболепство. – Не фальшь ли все, что говорят о народном патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу? Нас бичуют, как во времена Бирона; нас трактуют, как бессмысленных скотов. Или наш народ, в самом деле, никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть?.. Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался – этой гнусной способности рабов? Ужас, ужас, ужас! Да сохранит Господь Россию!“

И всего ужаснее то, что гибель России кажется спасением Европы.

„Ненависть к русским в Европе повсеместная и вопиющая. Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. До сих пор мы изображали в Европе только огромный кулак. Грубая физическая сила угрожает штыками и пушками человеческому разуму. Кто преодолет?“

„Спасая душу свою“, московский профессор Печерин бежал из России. Это им в те дни написаны страшные слова:

Как сладостно отчизну ненавидеть  
И жадно ждать ее уничтоженья,  
И в разрушении отчизны видеть  
Всемирного денницу возрожденья!  
„Да сохранит Господь Россию!“ – последний вопль из горящего балагана.

И балаган рухнул: „Севастополь взят!“ – записывает Никитенко с торжеством тайного, рабьего, жалкого, но все же святого мщения. – Мы не два года ведем войну, – мы вели ее тридцать лет, держа миллион войск и беспрестанно грозя Европе. К чему все это? А мы думали столкнуться с земного шара гниющий Запад».

Николай I скончался. «Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница русского царства дописана до конца, – произносит раб над владыкой беспощадный приговор человеческой совести. – Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все оно было – ошибка. Теперь только открывается, какие ужасы были для России эти двадцать девять лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребление и воровство выросли до чудовищных размеров. Все это – плоды презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу. Восставая целые двадцать девять лет против мысли, он не погасил ее... и заплатил своей жизнью, когда последствия открылись ему во всем своем ужасе».

«Николая I, – говорит Никитенко, – убила эта несчастная война».

Нет, не только эта, но и вечная война России с Европой – космического зада с человеческим лицом. И не только над прошлым произнесен беспощадный приговор, – но и над будущим.

v

«Великий день: манифест о свободе крестьян», – записывает Никитенко 5 марта

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)

1861 года. Он прочел этот манифест, «важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа», вслух жене и детям перед портретом Александра II, «как перед образом», и велел своему десятилетнему сыну «затвердить навеки в своем сердце 5 марта и имя Александра II Освободителя».

Не сиделось дома на радостях. Вышел бродить по улицам. Везде читали манифест и наклеенные на перекрестках объявления от генерал-губернатора. Один, дочитав до места, где говорится, что два года дворовые должны оставаться в повиновении у господ, воскликнул: «Черт дери эту бумагу!» Другие молчали.

Но Никитенко не обратил на это внимания и, встретив А. Д. Галахова, бросился ему на шею: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» – и обнялись, чуть не заплакав от радости.

Никитенко казалось, что он может воскликнуть: ныне отпускаешь раба твоего, – что освобождение крестьян – освобождение России. И не ему одному, а почти всем его современникам. Почти все тогда поверили, что освобождение безвозвратное. Но что возврат всегда возможен, – да еще какой, – показал страшный опыт.

Начался тот медовый месяц либеральной постепенщины, за который мы так жестоко расплачиваемся. Мед отцов отрыгнулся в детях полынью.

А между тем и тогда, кто хотел, видел правду. Точнее нельзя ее высказать, чем это сделал Никитенко несколько лет назад.

«В обществе начинает прорываться стремление к лучшему порядку вещей. Но этим еще не следует обольщаться. Все, что до сих пор являлось у нас хорошего или дурного, все являлось не по свободному самобытному движению общественного духа, а по воле высшей власти, которая одна вела, куда хотела» (1855).

И еще раньше, во времена николаевские: «или наш народ, в самом деле, никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть?.. Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался – этой гнусной способности рабов?»

Обязан всем – даже свободой. И воля рабов – рабья воля – немногим лучше вольного рабства.

Нет, несвободен освобождаемый и не освободивший себя народ. Свобода – не милость, а право. Не роса нисходящая, а пламя возносящееся. Лишь Божией милостью свободен свободный народ.

Если бы Никитенко остался верен этой правде, то не запутался бы в той лжи, в которой погиб.

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование! Если бы в николаевские времена кто-нибудь вздумал напечатать о подобных вещах, тот был бы сочтен за сумасшедшего или за государственного преступника. А тут вот публичное судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура... и все это – создание того государя, которого упрекают в слабости. Когда правительство ступило на другой путь, тогда бесчестно не содействовать его благим начинаниям! Нет, господа красные, вы не поняли этого человека!»

«Во всей нашей администрации есть только один человек, честности и патриотизму которого можно доверять, – это Александр II. Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, желающий блага России, то это государь».

Все бывшее зло – от личной воли Николая I; все настоящее благо – от личной воли Александра II. Но ведь это и значит: народ сам никогда ничего не делал, а за него делала власть; он всем обязан повиновению – «этой гнусной способности рабов». Корень рабства остается нетронутым; заколдованный круг неразорванным. И освобождение не освобождает. Было и есть. Есть и будет.

Мудрено ли, что бывшее медом в устах отцов, будет полынью во чреве детей?

Либеральному постепенцу суждено отныне вечно искать середины, вечно

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
колебаться как маятнику между двумя крайностями, – «я всегда был врагом резких крайностей»; между двумя террорами: белым и красным; между двумя молитвами: Боже, спаси нас от реакции, – и Боже, спаси нас от революции.

И постепенно, и нечувствительно совершит он полный оборот слева направо, от европейского лица революции к истинно русскому заду реакции.

## VI

«Появились нигилисты в круглых шапочках и с остриженными волосами, – записывает он 21 апреля 1864 года. – Наши нигилисты требуют жизни без всяких нравственных опор и верований. Хотят разрушить все и начать с дубины дикаря. Смотрят на человечество, как на стадо животных».

Из беседы с одной нигилисткой: «Эта милашка до того завралась, что воскликнула: анархия – самое лучшее состояние общества!»

О философии Лаврова: «Боже мой, и это философия!.. Я не говорю уже о том, что тут все один материализм... Но что за хаос мыслей!.. Разве только на Сандвичевых островах можно признать за философию весь этот бред».

О Писареве: «Модный пророк Писарев угрожает нам в будущем кровавым потоком».

«Прокламации. Бредят конституцией, социализмом... Требуют, чтобы Россия лила кровь, как воду... И чего хотите вы, господа красные?.. Кто дал вам право человеческую кровь считать за воду?.. Вы хотите кровавыми буквами написать на ваших знаменах: свобода и анархия».

«Настоящей разумной революции не из чего делать, хотя все к ней клонится. Но мы способны дойти до полной анархии. Деспотизм анархический несравненно хуже монархического. Мы стоим в преддверии анархии, да она уже и началась. Мы все спускаемся по скату и с неудержимой быстротой мчимся в пропасть, которой пределов и дна не видно».

«До чего изгажено, перепорчено, изуродовано молодое поколение!.. Это – осадки, подонки века... Растленные умы... Краснокожие либералы... Нелепые стремления... Безобразный порыв... Бедная Россия, как жестоко тебя оскорбляют!.. Боже, спаси нас от революции!»

Что это? Полвека или полгода назад? Никитенко или Булгаков, Бердяев, Струве? Дневник шестидесятых годов или «Вехи»? Те же мысли, чувства, те же слова, те же звуки голоса. «Все это уж было когда-то». Было и есть, есть и будет. Отвратительная скука русских реакций, неземная скука вечных возвратов, повторяющихся снов.

Все так же нечувствительно, постепенно – постепеновец доходит до воззвания к ежовым рукавицам.

«Если бы правительство показало, что с ним шутить нельзя, то мода эта (на нигилизм) быстро прошла бы. Единственной уздой русского человека до сих пор был страх; теперь страх этот снят с его души». Страх не стало – оттого и гибнет Россия.

Но если так, то николаевское царствование не было ошибкой; уж если кто сделал ошибку, то сам Никитенко, осудивший царство страха. Прав был Николай, прав был Уваров, желавший «подтянуть» Россию, «отодвинуть на пятьдесят лет».

Оказывается, что в России, хотя «народ никогда ничего не делал, а все за него делала власть», – все же не избыток, а недостаток власти. «Чего смотрят высшие власти?.. Едва ли в каком-нибудь благоустроенном государстве инерция правительства доходила до такой степени, как у нас».

Эта желанная власть явилась, наконец, в лице Муравьева. «Меры Муравьева начинают приносить плоды: восстание [Польши] почти прекращено. Пора, пора действовать в духе одной системы, не сворачивая в сторону ни на одну линию».

Когда генерал-губернатор Суворов отказался участвовать в поднесении образа Муравьеву, говоря, что не может оказать этой чести такому «людоеду», –

Тютчев, благороднейший из русских поэтов, назвал это пошлостью в пошлейших стихах:

Простите нас, наш симпатичный князь,  
Что русского честим мы людоеда,  
Мы, русские, Европы не спросясь.  
«Если уж пошло на то, так Россия нужнее для человечества, чем Польша, – решает Никитенко. – У России есть будущность. – Нас упрекают могуществом нашим, как преступлением. Но разве мы украли наше могущество? Мы добыли его терпением и кровью».

«Смотрите, не лизните крови!» – предостерегает он русских нигилистов и тут же с «людоедами» лижет кровь.

«Не фальшь ли все, что говорят о народном патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу?» – не вспомнились ему тогда эти его собственные слова.

Маятник вправо – маятник влево; но дело не в нем, а в стрелке часов, которая движется от одного полдня к другому – от одного тихого ужаса к другому.

## VII

Уже в 1858 году поворот назад становится очевидным. Запрещено употреблять в печати слово «прогресс». На докладе Ковалевского, в котором говорилось о прогрессе гражданственности, Александр II собственноручно написал: «Что за прогресс? Прошу слова этого не употреблять».

В следующем 1859 году: «Мы, кажется, не шутя вызываем тень Николая Павловича. Но теперь это может быть и опасно. Правительство нехорошо делает, что, принимая начало, не допускает последствий». Но начало без последствий – в этом вся сущность рабьей свободы: по устам текло – в рот не попало.

В 1861 году, несколько дней спустя после Манифеста: «Право, никогда еще, даже при Николае Павловиче, университеты наши не были в таком положении, как теперь. „Современнику“ – предостережение. Министр усиливается запретить Некрасова».

«Коварнейшая погода: солнце светит ярко, как летом, а между тем страшный холод. Прелестные майские дни, нечего сказать! Сегодня ночью выпал снег. Надевай опять шубу. На душе уныло, мрачно, безнадежно. – Тощая зелень из полумертвой земли».

Бедный подснежник рабьей свободы, побитый морозным утренником. Мнимая весна – петербургская оттепель.

«Государь намерен закрыть некоторые университеты.

– Долее терпеть такие беспорядки нельзя, – говорит он, – я решился на строгие меры».

«В казанской губернии бунт крестьян. Употреблена военная сила. Шестьдесят человек убито».

В 1864 году о статьях Каткова: «Неужели же одной материальной силой мы будем притягивать немцев, поляков, финнов? Правительству нужны бывают цепные собаки; оно и спускает их с цепи, а потом не знает, как их унять».

В 1865 году: «Валуев замыслил сделать с нашей литературой то, чего не в состоянии был сделать Николай Павлович».

В 1869: «Надо зажать рот печати, – говорит новый Аракчеев – Шувалов. – Паника всеобщая. Ожидают худшего, чем во времена николаевские».

В 1872: «Мы возвращаемся прямо к временам перед Крымской войной. Новый закон о цензуре. *Finis* печати. При этом законе становятся невозможными в России наука и литература. Да, правду сказать, давно бы следовало покончить с ними. К чему они нам?»

Рабы, влачащие оковы,  
Высоких песен не поют.

В конце пятидесятых годов отметил летописец появление славянофила А. С. Хомякова в армяке и шапке-мурмолке: «Говорит неумолчно и большей частью по-французски... Себе на уме». Теперь появляется другой представитель русской народности, еще больше себе на уме: «казацкий генерал с удивительной рожей, – на ней как будто отпечатана такая программа, что если он хоть четвертую часть ее исполнил, то его десять раз стоило повесить. А между тем, странное дело, тут же видно и какое-то добродушие».

На высоте русского освобождения этот казацкий генерал – как реющий ангел на игле Петропавловской крепости. Смесь либерального добродушия с программой, достойной виселицы, и есть лицо того времени, в которое мы, дети наших отцов, имели несчастье родиться.

В это именно время делается «провидением Петербурга Трепов». Не только Петербурга, но и всей России. «Вся Россия отдается под полицейский надзор... Открыто подкапываются под суды, стремятся опрокинуть земские учреждения, поразить гласность. Земское собрание уничтожено, как какое-нибудь тайное нигилистическое общество. Администрация принимает такие репрессивные меры, как будто одни нигилисты населяют русскую землю».

Усилена власть губернаторов. Нижегородский сделал распоряжение, по которому все женщины в круглых шляпах, синих очках, с остриженными волосами и без кринолинов признаются нигилистками и забираются в полицию, где им приказывают надеть кринолины, а если не послушаются, то высылают из губернии.

В 1872 году, в Петербурге одну молодую девушку, дочь действительного статского советника, остригшую себе волосы после тифа и по слабости глаз носившую очки, городовые схватили на улице и отвели в часть как нигилистку.

«– При мне этого не будет!» – говорит граф Д. А. Толстой о нигилистах. И Катков, как бешеный, кидается на всех.

Полдень белого террора, тихого ужаса.

«Все одно и то же – мрачно всюду, глухо всюду». И в этой глухой тишине, кажется, вот-вот раздастся снова панический крик: «Да сохранит Господь Россию!»

«Какие невероятные успехи сделала Россия!» – это в начале, а в конце: «Мне пришлось горько разочароваться и убедиться, что всему хорошему у нас суждено начинаться, но не доходить до конца. Дав свободу народу, мы хотим сковать всякую свободу мысли. Одной рукой производим улучшения, а другую их подрываем; одной даем, а другой отнимаем. Устанавливаем новые порядки и тотчас же спешим сделать их недействительными. Нам хотелось бы нового в частностях, но с тем, чтобы все главное осталось по-старому. У нас испугались реформы те самые, которые ее произвели».

Это и есть участь русской либеральной постепенщины: кошачьи подарки, собачьи отнимки; и хочется, и колется; в конце медового месяца – тещина рожа реакции. Чего просили, то и получили: не Божию грозу, а чертову слякоть рабьей свободы.

«Все это уж было когда-то». – Было и есть. Есть и будет.

## VIII

Да, «нам хотелось бы нового в частностях, с тем, чтобы все главное осталось по-старому».

Неужели же он все еще видит, что именно главное? Неужели все еще думает, что губит Россию только бюрократия – цвет и плод, а не корень дерева.

Кажется, начинает видеть.

«Не перестают восхищаться благодеяниями, излитыми в последнее время на народ. То ли скажет история? Освобождение будет не добром, а злом, и великим злом, при таком повороте назад. Лучше было бы не начинать, чем продолжать так».

Это увидел он, уже одной ногой стоя во гробе. «Теперь я, как Марий на развалинах всего, что мной когда-то делалось: впереди ничего, кроме окончательного уничтожения».

И вот последний вопль отчаяния: «Наш народ черт знает что такое! Все ложь, все ложь, все ложь в любезном моем отечестве».

Было царство страха, стало царство лжи.

Ложь – рабья свобода и рабья любовь к отечеству: у рабов нет отечества.

Как утопающий за соломинку, хватается он теперь за ту самую революцию, которой так боялся, за тех самых нигилистов, которых так ненавидел.

«Всеобщее неудовольствие и волнение умов, даже дикие выходки наших юношей доказывают, что наш народ жив и что у него есть будущность. Главный двигатель материалистов – отчаяние, и, правду сказать, есть от чего прийти в отчаяние. Но чем хуже, тем лучше. – Может быть, нам предстоит очиститься в огне революции».

Он, впрочем, знает, что ему самому этим огнем уже не очиститься; над самим собой и над своим поколением произнес он смертный приговор.

«Самое важное в человеческой жизни – это умение что-нибудь сделать. Я ничего не умел и не умею сделать. Жить в словах и для слов это – глубокое злополучие. Я, как ребенок, как дурак, играю в мечты и призраки. Я и подобные мне доктринеры составляем род бесполезных людей, способных разве только умирать мужественно и честно. Но мы напрасно думаем отвратить неотвратимое».

Приговора тягчайшего над либеральной постепенщиной никто никогда не произносил.

IX

Тот всепоглощающий нигилизм, с которым он в других боролся, – теперь с ужасом видит он в себе самом. Всю жизнь отрицал крайности, утверждал середину, и вот в самой середине, в самом сердце всего – ничего.

«Все, что мы называем прекрасным, добрым, заключается в идеалах – в иллюзиях» – во лжи. «Вся наша цивилизация – грубая, пошлая ложь, блеск снаружи, гниль внутри. Наука, говорят, освобождает человека от иллюзий. Хороша услуга. Я не знаю, в состоянии ли голая истина довести человечество до чего-нибудь, кроме отчаяния. Глубокое презрение к себе и к жизни, вот все, что выносишь из долговременного опыта жизни. Человек – ничто. Жизнь гадка. Она есть глубочайшее ничтожество, ничтожнее самого ничтожества».

Проклятие жизни, проклятие себе, проклятие Богу.

Перед этим нигилизмом, нигилизм самых крайних – детская шалость. Там золотуха; здесь проказа.

Напрасно хочет он сохранить мужество: «Пока жив, будь мужем; крепче и крепче держись за дух. Каждый день начинается мыслью: борись и крепись. Терпение, терпение и терпение».

Нет, проклятье всех проклятий – этому терпению! Лучше умереть, чем так терпеть.

«Умереть значит перестать существовать и терпеть зло».

И, может быть, злейшее зло – само терпение?

«1877, июль, 19. – Здоровье гнусное-прегнусное; лето гнусное-прегнусное; человечество гнусное-прегнусное... Ветер завывает, как лютый зверь. Дождь, мрак...»

«Июль, 20. – Проиграно сражение при Плевне, и какое-то мрачное молчание, лишаящее нас сведений об...»

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
На этом слове дневник обрывается. На следующий день, 21 июля, Никитенко умер.

Рабыня жизнь, рабыня смерть.

Рабы, влачащие оковы,  
Высоких песен не поют.  
Песнь его – только песнь умирающего раба, сраженного гладиатора. Если бы он знал, что суждено ей заглушиться песнью торжествующей свиньи!

«Всякий народ имеет своего дьявола», – говорит Лютер. Никитенко увидел лицо русского дьявола – «космический зад»: «Ну, и что же, все мы тут, все не ангелы; и до чего нам родная, милая вся эта Русь; нам другой Руси не надо».

Да здравствует Свинья Матушка!

Он от этого умер, а мы этим живем.

ЗЕМЛЯ ВО РТУ

I

Полетим или не полетим? Это вопрос не только о воздухоплавании, но и об участии нашем в той всечеловеческой свободе, которая хочет воплотиться в крыльях.

«1695 года, апреля в 30 день, закричал мужик караул, и сказал за собою государево слово, и приведен в Стрелецкий приказ, и расспрашиван; а в расспросе сказал, что он, сделав крыле, станет летать, как журавль. И, по указу Великих Государей, сделал себе крыле слюдные, [9] а стали те крыле в 18 рублей из государевой казны. И боярин князь Иван Борисович Троекуров с товарищи и с иными прочими, вышед, стал смотреть; и тот мужик, те крыле устроя, по своей обыкности, перекрестился, и стал махи подымать, и хотел лететь, да не поднялся и сказал, что он сделал те крыле тяжелы. И боярин на него кручинился. И тот мужик бил челом, чтоб ему сделать другие крыле иршение. [10] И на тех не полетел. А стали те крыле в 5 рублей. И за то ему учинено наказание: бить батоги, снем рубашку, и те деньги велено доправить на нем, и продать животы его и остатки» («Записки» Желябужского).

Несколько лет назад, когда я перелистывал в Амбриазонской библиотеке Атлантический Кодекс Леонардо да Винчи с рисунками летательных машин, – вспомнился мне крылатый мужик. И в этом году, в Иоганигстале, около Берлина, когда с высоты донеслось вдруг нежное жужжание – журавлиное курлыкание моторов, и я увидел впервые человеческие крылья, серебристо-серые на темно-лиловом, вечеряющем небе, и лицо человека, как лицо Бога, сквозь вертящееся, паутинное солнце пропеллера, – опять мне вспомнился не полетевший мужик.

Нет, не полетим. Пока есть то, что есть, – ни за что не полетим.

Возвращаясь в Россию, каждый раз удивляешься: до чего все заплыванное, заплюзганное, точно мухами засиженное, пришибленное, ползучее, бескрылое.

Как мастеровые в горбуновской сказочке решают: «От хорошей жизни не полетишь».

Разве на дырявом шаре генерала Кованько или на слюдяных крыльях?

II

Огорчился я, а Вяч. Иванов утешил меня. [11]

«Мистики Востока и Запада согласны в том, что именно в настоящее время славянству и, в частности, России передан некий светоч; вознесет ли его наш народ или выронит – вопрос мировых судеб... Благо для всего мира, если вознесет».

Этот мировой светоч – «русская идея», «воля к нисхождению».

«Наши благороднейшие устремления запечатлены жаждой саморазрушения... словно другие народы мертвенно-скупы, мы же, народ самосожигателей, представляем

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
истории то живое, что, как бабочка-Психея, тоскует по огненной смерти».

Европейской воле к восхождению, которая воплотилась в культуре «критической, люциферианской, каиновой», полярно противоположна русская воля к нисхождению, относящаяся к «тайне второй ипостаси, к тайне Сына».

Вот почему народ наш – «христоносец» по преимуществу: подобно св. Христофору, через темный брод истории несет он на плечах своих младенца Христа.

Я утешен: я знаю теперь, что если мы не летим, то не потому, что не можем, не умеем, а потому, что не хотим летать. Наше дело – нисходить, никнуть, погребаться, зарываться в землю. И надо нам отдать справедливость: мы это дело как нельзя лучше делаем.

Я утешен, но, признаюсь, не совсем.

Конечно, всякому народу лестно сказать: «Я – христоносец». Но, во-первых, совестно: прочие народы-нехристи могут обидеться. А во-вторых, – нисходить, так нисходить: к чему же тогда слюдяные крылья и дырявый шар генерала Кованько? За эти неудачные и самохвальные попытки не приговорили бы нас «бить батоги, снем рубашку», не только на историческом, но и на вечном Божием суде.

«Во Христе умираем. Духом Святым воскресаем», – уверяет Вяч. Иванов. Его бы устами мед пить. Что мы вообще умираем, этому поверить легко: стоит лишь взглянуть на все, что происходит сейчас в России. Но во Христе ли умираем, – сомнительно. Во всяком случае, умирали, умерли достаточно, – пора бы и воскресать. А на воскресение что-то непохоже.

«Семя не оживет, если не умрет». Это значит: всякое оживающее семя должно умереть; но не значит, что всякое умершее – должно воскреснуть. Может и просто сгнить.

А ну, как сгнием?

### III

«Ваше Высокопревосходительство, глубокоуважаемый Тертый Иванович.

... Вступление Ваше в первый ряд государственных сановников кажется мне несомненным предзнаменованием некоторой общей перемены правительственных взглядов... А перемена взглядов, на которую я намекаю, важна и необходима не для меня одного, а для всей России, и не только для нее, но и для вселенской Церкви.

Сторожат меня албанцы,  
Я в цепях... но у окна  
Зацветают померанцы –  
Добрый знак: близка весна.

... Меня связывает с Вами не столько единомыслие, сколько единоволлие... У нас одна и та же цель: *ignem fovere in gremio sponsae Christi*...[12] Во всяком случае, чаю от Вас движения воды в нашей застоявшейся церковной купели.

Имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорный слуга, Владимир Соловьев» (Письма Вл. Соловьева, II т., стр. 328).

Бедный Вл. Соловьев! До какой глубины нисхождения, унижения нужно было дойти, чтобы уверовать в Тертая Филиппова, как в зацветающий померанец! Бедный пророк, поющий оффенбаховскую песенку перед этим оффенбаховским «эпитропом Гроба Господня» (церковный чин Тертая)! Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет.

Ведь знал же Вл. Соловьев, с кем имеет дело. «Не петербургские же чиновники разбудят православие», – писал он в 1885 году, за четыре года до письма Т. Филиппову. А года за три, во втором издании «Догматического развития церкви», цензорская рука зачеркнула слово «Богочеловек». «Эту редкость, – замечает Вл. Соловьев, – я буду бережно хранить для потомства». И в 1886 году: «Обер-прокурор синода, Победоносцев, сказал одному моему приятелю, что всякая моя деятельность вредна для России и для православия и, следовательно, не может быть допущена. Наши государственные, церковные и

Мережковский Д. Большая Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
литературные мошенники так нахальны, а публика так глупа, что всего можно ожидать» (Письма, II т., стр. 142).

И вот все-таки – «зацветают померанцы».

Т. Филиппов – цвет. Победоносцов – плод; один – романтик, другой – реалист. Приняв цвет, надо принять и плод.

Принял ли его Вл. Соловьев? Как будто принял.

«Существующие основы государственного строя в России мы принимаем как факт несомненный. Дело не в этом... При всяком политическом строе... и при самодержавии, государство может и должно удовлетворять требованиям... религиозной свободы» (там же. Грехи России, стр. 191).

Это значит: можно соединить самодержавие с православием как с откровением совершенной истины Христовой.

Или, говоря языком Вяч. Иванова: если в православии – воля к нисхождению, самоотречению, погребению себя во Христе – одна половина русской идеи, то в самодержавии – другая половина этой же идеи – воля к восхождению, самоутверждению, воскресению. Во Христе ли тоже? Для Достоевского, для славянофилов – да.

А для Вл. Соловьева? И да, и нет. Он спрашивает Россию:

Каким ты хочешь быть Востоком,  
Востоком Ксеркса или Христа?

И вместе с тем полагает, что «дело не в этом», что «при всяком политическом строе» возможна религиозная свобода, а, следовательно, в последнем счете, Ксеркс не мешает Христу.

Напрасно думает он, будто бы нанес славянофильству последний удар – coup de grace. Православие и самодержавие как два осуществления единой правды Христовой – вот живое сердце славянофильства, которого не только не убил он, но и не коснулся.

И посмотрите, как это живое сердце снова забилося у Вяч. Иванова. Именно здесь, между государством и церковью, Вяч. Иванов находится точно в таком же двусмысленном положении, как Вл. Соловьев. Тоже готов сказать: «дело не в этом».

«Наше освободительное движение, – говорит Вяч. Иванов, – было бессильной попыткой что-то окончательно выбрать и решить». Но «мы ничего не решили и не выбрали окончательно, и по-прежнему хаос в нашем душевном теле». России угрожает гибель за то, что она стоит,

немея,

У перепутного креста.

Ни зверя скиптр нести не смея,

Ни иго легкое Христа.

Но если мы «ничего не решили, не выбрали окончательно», то, как знать, в чье имя совершается и самое нисхождение России – во имя Христа или зверя?

«Нам должно говорить не о могуществе, а о грехах России, – напоминает Вл. Соловьев. – Никакие подвиги не могут закрыть наших грехов; напротив, эти подвиги только ярче обличают внутреннее противоречие, в котором мы находимся», – «хаос в нашем душевном теле», колебание между Христом и зверем.

Восхождение может быть каиновым, люциферианским, сатанинским; но ведь и нисхождение – точно так же, точно в той же мере. Ведь вот знает же Вяч. Иванов, что нисхождение, не закрепившее силы света, – самоубийственно. – Бросься отсюда вниз, и ангелы понесут Тебя. – Отойди от меня, Сатана.

Какое же нисхождение совершается сейчас в России? Христово или сатанинское? Мы не решили. «Мы ничего не решили и не выбрали окончательно».

Со Христом ли погребаемся, вольно нисходим или низвергаемся насильственно, летим к черту?

В нисхождении Христовом – свобода. А свободна ли Россия нисходящая?

«Рабский народ рабски смиряется и жестокостью власти воздержаться в повиновении любит... бичев и плетей у них частое есть употребление». Эти слова Пуффендорфа русские цензоры вычеркнули, и Петр I восстановил.

Кнут не мука, а впредь наука. Палка нема, а даст ума. Нет того споре, что кулаком по шее. – Это в народной мудрости, и это же в сознании просвещенных людей. «Я люблю полицеймейстера, который во время пожара и меня самого съездил бы по затылку, чтобы я не стоял, сложа руки. – Без насилья нельзя», – говорит Константин Леонтьев. И по поводу либеральных реформ в царствование Александра II: «Не решимся ли мы просить могучего Отца, [13] чтобы впредь Он держал нас грознее?»

Это единственно русское. Не столько «идея», сколько физиология – ощущение свободы, как чего-то богопротивного, – рабства как богоугодного.

«Природа их такова, – говорит Аристотель о варварах, – что они не могут и не должны жить иначе, как в рабстве: quod in servitute boni, in libertate mali sunt [14]».

В свободе – грешные, в рабстве – святые.

Святые рабы. Святая Русь – земля святых рабов.

#### IV

Первые изобретатели аэропланов, американцы, братья Вильбур и Орвиль Райт – сыновья пуританского епископа в городе Дайтон, в штате Огайо, – потомки тех английских пуритан, которые завоевали Новый Свет.

Верные преданию отцов своих, в воскресение, день Господень, ни за что не полетят братья Райт: в этот день молятся они, чтобы Господь благословил их святой смиренный труд, святое смиренное восхождение.

Предел восхождения, освобождения – полет. Западная культура только потому и могла достигнуть этого предела, что Господь явился ей не в «рабьем зраке», а как освободитель народов. Царь царей, грядущий в облаках со славой и силою мною. Таким являлся он благочестивым и вольнолюбивым воинам Кромвеля; таким и доньше является их правнукам.

Вот что для нас, русских, невообразимо. Мы уже не верим свидетельству св. Ипполита о том, что «антихрист на небеса возлетит». Но мы всосали это с молоком матери; это у нас в крови, даже у самых неверующих: каинство, окаянство, люциферианство всякой вообще воли к восхождению, к полету. Обескрыление, обесценение ценностей. «Опрощение, совлечение всех риз», – определяет Вяч. Иванов.

Европейский путешественник XVII века рассказывает о русском пьянице, который пропил сначала кафтан, затем рубаху, наконец, порты и, выйдя, голый, из кабака, сорвал горсть одуванчиков и «прикрыл ими свое срамное тело».

Толстовское опрощение, писаревский нигилизм, бакунинский анархизм – все русские «совлечения» – не напоминают ли эту горсть одуванчиков?

Тот же путешественник рассказывает, как пьяный священник хотел благословить стрельцов, но когда, подняв руку, наклонился вперед, голова у него отяжелела и он упал в грязь. Стрельцы подняли его, и он все-таки благословил их грязными перстами.

Когда Достоевский или Константин Леонтьев благословляют зверя именем Христа, когда Союз Архангела Михаила благословляет еврейские погромы и смертные казни, – кажется, видишь это благословение грязными перстами.

«Мы обречены необоримым чарам своеобразного Диониса», – утверждает Вяч. Иванов.

Да, обречены. И в самом христианстве нашем, по преимуществу аскетическом, «совлекающем», из-за лика Христа выглядывает звероподобный лик варварского Диониса, древнего Хмеля-Ярилы.

V

Единственный залог русского «воскресения» Вяч. Иванов усматривает в том, что «в одной России Светлое Христово Воскресение – праздник из праздников, торжество из торжеств». Или, по слову Гоголя: «в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться».

Вернее было бы сказать, не день, а ночь, ибо за светлую ночь – темный день, за светлым хмелем – грешное похмелье, за мгновенным полетом – стремительное падение в грязь. Сам же Гоголь заметил (Вяч. Иванов не замечает, и это для него показательно) неимоверную грусть сквозь пасхальную радость – грусть, от которой хочется «завопить раздирающим сердце воплем: Боже, пусто и страшно становится в Твоем мире!»

И вот опять знакомое видение русского бреда.

«В Новгороде ежегодно бывает день большого богомолья, и в этот день корчмарь, или целовальник, с купленного позволения митрополита, разбивает перед кабаком несколько палаток. Здесь пьянствуют. Одна напившаяся баба, вышедши из кабака, упала на дороге и заснула. В то же время пьяный мужик, проходя мимо, увидел лежавшую и обнажившуюся бабу, возгорел похотью и прилег к ней, несмотря на ясный день и на то, что место было на большой дороге. Прилегли к бабе, он заснул. Вскоре вокруг этой пары животных образовалась целая толпа молодых парней; они смеялись и глумились, пока, наконец, не подошел один старик, который накинуд кафтан на лежавших и прикрыл срамоту их» (Олеарий. «Путешествие в Московию». 1633–1639).

В одной России Светлое Воскресение – праздник из праздников, торжество из торжеств; но и в одной России возможна такая срамота, как эта пара животных. Ангелы – ночью, свиньи – днем. И это не только в XVII веке.

Я никогда не забуду, как однажды, в первый день Пасхи, встретил на углу Бассейной и Надеждинской кучку пьяных, которые, шагая посередине улицы, горланили: Христос воскрес! – вместе с чудовищной, тоже, увы, единственной, русской бранью. И надо всей Россией, над одной Россией стоит в этот день «гул всезвонных колоколов», смешанный с матерной бранью.

Понятно, почему Лейбниц говорил о русских: «крещеные медведи»; а ученый швед, Иоанн Ботвид, в 1620 году, в Упсальской академии защищал диссертацию: «Христиане ли московиты?»

Тут не только эмпирическая, но и мистическая противоположность европейской воли к восхождению и русской воли к нисхождению. Они и мы не понимаем друг друга именно в этом, самом главном. Если они для нас, то и мы для них – «Каины». Только они вежливее: не говорят нам этого в лицо.

Была когда-то и в Европе воля к нисхождению; но в самой глубине ее, в самой тьме средних веков не утратил Запад воли к свету, к восхождению, к Возрождению. Западный свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А наш русский – уже обнимает. Уже «хаос шевелится под нами». «Хаос в нашем душевном теле», – это и Вяч. Иванов чувствует.

Что, если русская воля к нисхождению – воля к хаосу?

VI

В маленьком недавнем случае со смертной казнью испанского анархиста Феррера выразился этот мистический рубеж между русским Авелем и европейским Каином. На одном конце Европы кого-то повесили – и вся она как один человек содрогнулась от гнева и ужаса. А чего бы, казалось? На другом конце – сколько вешают! Но ей до этого дела нет. Эскимосы едят сырое мясо, а русские вешают.

Однажды Европе почудилось, что и нам сырое мясо опротивело: Каин подошел к Авелю с братским приветом. Но это оказалось недоразумением – и Каин вновь отшатнулся от Авеля: живите-де по-своему, – во Христе нисходите, умирайте, убивайте друг друга; мы не судим вас, – только и вы не мешайте нам жить по-нашему, по-окаянному.

И вот они летят, а мы сидим в луже, утешаясь тем, что это вовсе не лужа, а

«русская идея».

Св. Христофор не узнал младенца Христа, которого нес на плечах. Не так же ли Россия, слепой великан, не видит, кого несет, – только изнемогает под страшной тяжестью, вот-вот упадет раздавленная? Не видит Россия, кто сидит у нее на плечах, – младенец Христос или щенок антихристов.

VII

Что если русская идея – русское безумие?

Опасность этого безумия сознает и Вяч. Иванов, но отвлеченно, бездейственно. «Опасность, – говорит он, – самоубийственная смерть – тогда, когда умирающий[15] недостоин умереть, чтобы воскреснуть. Прежде чем нисходить, мы должны укрепить в себе свет; прежде чем обращать в землю силу, мы должны иметь эту силу».

Должны, но имеем ли? – вот вопрос. Если имеем, если укрепили в себе свет, то почему же «хаос в нашем душевном теле, и мы ничего не решили, не выбрали окончательно, –

Ни Зверя скиптр нести не смея,  
Ни иго легкое Христа?»

Какой же свет там, где нельзя отличить Христа от зверя? Какая крепость там, где хаос?

Существует предел, за которым нисхождение становится низвержением во тьму и хаос. Не чувствуется ли именно сейчас в России, что близок этот предел, что нисходить дальше некуда: еще шаг – и Россия – уже не исторический народ, а историческая пададь?

Нисхождение и восхождение, – две чашки весов: если одна поднимается с тяжким скиптром, то другая опускается не под легким игом.

Сказать: нисходим, – значит не сказать ничего, в смысле религиозной воли, религиозного действия. Действие начинается только тогда, когда нисходящий говорит: «Довольно, – пора восходить». Сейчас в России вопрос о воле есть вопрос о том, как относится нисхождение наше к восхождению, русская церковь к русской власти.

Вяч. Иванов не только не ответил, но и не поставил этого вопроса. Он смотрит, как чашки весов колеблются, и пальцем не двинет, чтобы поднять одну и опустить другую.

Нет, спасение наше не в том, чтобы, сознав себя народом-христоносцем, в других народах видеть Каинов; спасение наше в том, чтобы увидеть, наконец, свое собственное «окаянство», почувствовать себя не «христоносцами», а «христопродавцами» именно здесь, в этой страшной воле к нисхождению, к совлечению, к саморазрушению, к хаосу; чтобы понять, что Россия, только восходящая, восстающая на скиптр зверя, может понести на плечах своих легкое иго Христа.

Но не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо – Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба – и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают – холм насыпали, крест поставили. Достоевский пишет на кресте: «Смирись, гордый человек!» Л. Толстой: «Непротivление злу». Вл. Соловьев: «Дело не в этом». Вяч. Иванов: «Духом Святым воскресаем».

Нет, не духом Святым воскресая, а духом звериным удушаюсь, умираю, – мог бы ответить погребенный. – Кричу, стучу – и никто не слышит. Уже земля обсыпалась, задавила меня. Больше не могу кричать, голоса нет. Земля во рту.

КОГДА ВОСКРЕСНЕТ

«У нас прежде, нежели во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресение Христово. Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей; раздаются слова Христос воскрес, – и поцелуй, и всякий раз так же

торжественно наступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят».

Это говорит Гоголь, чей праздник совпал со Светлым праздником. Не для того ли, чтобы умерший, вечно живой, сказал нам снова то, что говорил при жизни, никем не услышанный? Неужели и теперь не услышим?

«Нет, не воспроядновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует праздноваться», – заключает он.

Почему же не воспроядновать? Почему, в самом деле, нам праздник не в праздник? Почему он исчез, как будто навеки затмился?

Помните, как в детстве казалось нам, что солнце на небе играет в этот день, как ни в один из других дней года? Отчего же теперь меркнет, гаснет – как будто света не стало в наших глазах? Отчего «гулы всезвонных колоколов» гудят и гудят над нами, как будто не воскресным, а похоронным звоном? Уста произносят: Христос воскрес, – уста отвечают: воистину воскрес; а сердце молчит, – сердце молчит, как будто, если и воскрес, то не для нас?

«Знаю, что люди, совершающие преступления, которые они называют казнями, не услышат, потому что не хотят слышать того, что я кричу, о чем умоляю их: но я все-таки не перестану кричать, умолять их об одном и том же до последней минуты моей жизни», – говорит Л. Толстой в недавней статье своей: «Христианство и смертная казнь».

«Лев Николаевич просит вас написать, что статья Жуковского о смертной казни ему известна и всегда возмущала его. Лев Николаевич находит, что вы очень хорошо сделали, что возобновили в памяти читателей это старое ужасное кощунство», – пишет секретарь Толстого в частном письме по поводу одной, тоже недавней статьи о смертной казни. А в конце письма приписывает сам Толстой слабеющей старческой рукой:

«Я в последние дни чувствую себя очень слабым от возобновившегося нездоровья, – в сущности, от старости; но хочется самому написать вам, хоть несколько слов, в благодарность за вашу статью и, в особенности, – хорошее письмо. Стараюсь, сколько умею и могу, бороться с тем злом представления церковной лжи на место истины христианства, на которое вы указываете; но думаю, что освобождение от лжи достигается не указанием на ложь лжи, а на полное усвоение истины, такое, при котором истина становится единственным или хотя [бы] главным руководителем жизни...»

Один, среди гробовой тишины, кричит он все глуше и глуше, замирающим голосом, как будто и вправду «накинули намыленную веревку на его старую шею», – кричит и будет кричать до последней минуты жизни своей, повторять одни и те же слова упорно, утомительно однообразно, безнадежно, почти бессмысленно, почти тупо: «Это ужасно, ужасно, ужасно!.. Да, положение теперешнего христианского человечества ужасно!.. Нехорошо убивать друг друга!..»

«Убивать за убийство, – говорит Достоевский, – несоразмерно большее наказание, чем само преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье: тут всю последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная-то мука и сидит – и сильнее этой муки нет на свете. – Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать».

«У нас [16] смертной казни нет», – радуется Достоевский, не подозревая, какой насмешкой сделаются эти слова через сорок лет.

«Священник вполголоса читал молитвы. Подошли два другие помощника, проворно сняли с Тропмана камзол, завели ему руки назад, связали их крест-накрест и опутали все тело ремнями... Тропман покорно наклонял голову. Священник растягивал слова молитвы... Я не мог отвести взора от этой тонкой юношеской шеи... Воображение невольно проводило по ней поперечную черту... Вот тут, думалось мне, через несколько мгновений, раздробляя позвонки, рассекая мускулы и жилы, пройдет десятипудовый топор... Я видел, как палач вдруг вырос

на левой стороне гильотинной площадки; я видел, как Тропман взбирался по ступеням... как он остановился наверху, как справа и слева два человека бросились на него, точно пауки на муху, как он вдруг повалился головой вперед и как подошвы его брыкнули... Но тут я отвернулся и начал ждать, а земля тихо поплыла под ногами... Наступила бездыханная тишина... Потом что-то вдруг глухо зарычало и покатилося – ухнуло... Точно огромное животное отхаркнулось... Все помутилось...» (И. С. Тургенев. «Казнь Тропмана». 1870).

Все помутилось, потемнело и в наших глазах. Потемнело и Светлое Воскресение.

Вот почему нам праздник не в праздник. Не можем, не хотим, не должны мы праздновать Воскресение умершего там, где происходит умерщвление живых. Нельзя Христу воскреснуть там, где еще распинают Христа. Нельзя теми же устами петь: Христос воскрес, – которые вопят: распни Его! – Ибо, что такое всякая новая казнь в человечестве, как не новое распятие Сына Человеческого?

Не повторяется ли в казни всех казнимых казнь Казненного за всех?

«Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». На плахе Я был, и вы не узнали Меня.

Кощунство, скажут, сравнивать Христа со злодеями. Но не кричал ли народ и о Нем: смерть Ему! а отпусти нам Варавву? Не был ли и Он распят между двумя разбойниками и к злодеям причтен?

Что такое крест, как не римское орудие казни – то же, что французская гильотина и русская виселица? Для чего же на кресте и умер он, как не для того, чтобы сделать орудие казни орудием спасения? Смертью смерть поправ – не значит ли это: собственную смертную казнь смертную казнь поправ, отменил, упразднил, уничтожил на веки веков? А если нужно казнить и после него, значит, он умер и не воскрес; значит, все еще крест – орудие казни, «проклятое древо», и все еще «проклят висящий на древе».

Где возносится виселица, там низлагается крест. На месте Креста Господня, виселица – антихристов крест.

От этого-то креста антихристового и протянулась по всей России черная тень; от него-то и померкло солнце Воскресения. Как будто «гулы всезвонных колоколов» гудят: Христос не воскрес, – и сердце наше отвечает: воистину не воскрес. – «Пасха красная», – поет церковь, а нам кажется, что она от крови красная.

Будем ли спрашивать, за что нет над нами благословения Божиего, как будто Бог отступил от нас и стала проклятою святая Русь? Вот чаша гнева в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и он наливает нам из нее; даже дрожжи ее будем выжимать и пить. Беда за бедою, позор за позором, Цусима за Цусимою. Кажется, нельзя ниже пасть, а все-таки падаем. За что? Не за то ли, что так привыкли к виду крови, что уже не видим, не слышим этого позора позоров?

И еще смеем говорить о «Великой России», о нашем «честном и добром, национальном лице», смеем спрашивать, куда оно девалось, почему его не видно. К плахе пригнул палач – вот почему не видно.

Что ужасно и отвратительно есть мясо человежье, человеку нельзя доказывать. Так нельзя доказывать, что смертная казнь ужасна и отвратительна, что «убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье».

Простое убийство уничтожает религиозную жизнь убийцы; смертная казнь – религиозную жизнь всего народа. Казня одного, казним всех; убивая тело одного, убиваем душу всех.

Кто же это сделал с нами? Кто виноват?

Не будем обвинять других, себя оправдывать. Нет правых, все виноваты – и я, который пишу, и ты, который читаешь, – все виноваты: кровью куплена жизнь,

которой мы живем, кровью напитан воздух, которым дышим, кровью смочен хлеб, который едим, с кровью смешана вода, которую пьем. Мы это знаем, видим; другие слепы или не хотят видеть. Преступнее видящие; слепые несчастнее.

И пусть не говорят нам, что смертная казнь нужна для спасения России. Ну, а если бы нужно было снова распять Христа, чтобы спасти Россию, мы бы распяли? В этот день, по крайней мере в этот день, верим, что не распяли бы.

«Зачем этот утративший значение праздник? – спрашивает Гоголь. – Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окликнувши, уходит, как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же уцелели кое-где люди, которым кажется, – как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу?.. Зачем все это и к чему это?.. Будто не известно, зачем, будто не видно – к чему? – затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на небе, и, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней, – в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга... Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за это, как утопающий хватается за доску! Бог вещь, может быть, за одно это желание уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней».

Да, может быть, недаром в день Воскресения воскресший Гоголь снова, как некогда, падает к нашим ногам и вопит раздирающим сердце воплем: «Хотя бы только пожелать так!..»

Есть в человеке воля всемогущая, есть вера в чудо, которая сама уже чудо. Пожелаем же такую волю, поверим такую верою в чудо Воскресения Христова, в чудо воскресения России.

Не будем умолять: отмените, – а со Христом, смертью смерть поправшим, казнь казнь отменившим, отменим сами смертную казнь.

И тогда только воспроедем Светлый Праздник; тогда только заиграет солнце на небе и гулы всезвонных колоколов загудят: Христос воскрес!

И ответит вся Россия: Воистину воскрес!

#### Примечания

1

Помни о смерти (лат.)

2

лицо Гиппократ (лат.)

3

Ропшин – псевдоним Б. В. Савинкова.

4

т. е. молоканского

5

То, чего я здесь касаюсь кратко и поверхностно, глубже и подробнее изложено Д. В. философым в его докладе, читанном в Рел. – фил. о-ве: «Богостроительство и богоискательство».

6

т. е. период торжествующего социализма

7

См. статью Варварина в «Русск. слове». Я не хочу раскрывать псевдонима, но ex ungue Leonem (по когтям льва) – один только человек в России пишет таким языком.

8

Александр Васильевич Никитенко – литературный критик, историк литературы, академик Петербургской АН. Сын крепостного.

9

слюдяные

10

замшевые?

11

См. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1909. «Русская Идея».

Книга эта, так же как все явление Вяч. Иванова, заслуживает глубокого внимания.

Если бы на Невском, в сумерки, когда зажигаются электрические огни, отражаясь пестрыми столбами в мокрых тротуарах, – появилась вдруг высокая, бледная женщина, вся с головы до ног закутанная, как бы запеленутая льняными пеленами, священными повязками, – Дельфийская Сибилла, то сначала толпа удивилась бы, засмеялась: «Ряженая!» – а потом шарахнулась бы в ужасе. Такое впечатление производит критическая муза Вяч. Иванова в современной русской литературе. – Примеч. авт.

12

Хранить огонь в лоне Невесты Христовой.. (лат.)

13

государя

14

что хорошо в рабстве, плохо в свободе (лат.).

15

нисходящий

16

в России.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Больная Россия [filosoff.org](http://filosoff.org)  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши [buckshee](http://buckshee.ru/). Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!